

Лариса Миллер

**ЗАМЕТКИ, ЗАПИСИ, ШТРИХИ**

«Глас», Москва, 1997. Стихи и проза, 190 стр., тираж 1500



Художник Елена Колат

Редактор-составитель Борис Альтшулер

В книге 8 разделов, в которых тематически сгруппированы публиковавшиеся ранее в периодических изданиях статьи, эссе на самые разные темы:

Отклики на фильмы Отара Иоселиани, Марлена Хуциева, Никиты Михалкова и др. (I); Статья о Николиной Горе - уникальном и, к сожалению, гибнущем на глазах оазисе русской культуры (II); Россия и заграница ("Слишком много и крови и поту... Не пора ли свести к анекдоту Разговор о российском житье?...") (III); "Уходящему поклон" - статьи памяти Бориса Чичибабина, Юрия Карабчиевского, Евгении Ласкиной, Григория Левина (IV); "Мемуары, флёр и дымка" (V); "Давайте говорить" - о нас сегодняшних, о Л.К. Чуковской - читателе поэзии, и о высшей - бессловесной форме общения ("Собачий хвост - это исповедь") (VI); "Энергия отчаяния" - эти написанные в 1997 году заметки о поэзии продолжают тему предыдущей книги автора (Лариса Миллер, "Стихи и о стихах", М.: Глас, 1996) (VII); и, конечно, раздел "Из новых стихов" ("Ещё четыре кратких вздоха/ И переменится эпоха...") (VIII).

## Содержание

*Заметки, записи, штрихи, наброски*

### I. ТАКОЕ ВОТ КИНО

*Пена дней...*

*Холмы Тосканы*

*Певчий дрозд и бабочки*

*Старый зонтик*

*Картина Пиросмани*

*Вперед за Максиком*

*Да разве можно мыслить плоско*

*Он живой и светится*

*Совсем одни в большом и неуклюжем*

*Нас годы предают*

*Такое вот кино*

*Давайте отменим вселенскую гонку*

*Обобщаем, обобщаем*

*Жить сладко и мучительно*

*Идет безумное кино*

*А на экране, на экране*

*И прорывается одно сквозь другое*

### II. НА НИКОЛИНОЙ ГОРЕ

*Утоли моя печали*

*Слезы в раю*

*На Николиной Горе да на Николкиной*

*Памяти Николая Виссарионовича Шебалина*

*На смерть Максима Шебалина*

*Стихи, прочитанные на открытии мемориала*

*И в черные годы*

*Мелким шрифтом в восемь строк*

*То облава, то потрава*

*Так пахнет лесом и травой*

### III. ВЕЩЕСТВО ЖИЗНИ

*Господи, не дай мне жить, взирая вчуже*

*Компромисс между жизнью и смертью*

*Спасибо тебе, государство*

*Сок со льдом, бананы, пицца*

*Оживление в больничке*

*Не чувствую боле ни пыла, ни жара*

*Надоели хмарь и хаос*

*Такие творятся на свете дела*

*Вещество жизни*

*Почему не уходишь, когда отпускают на волю*

*Откуда знать важны ли нам*

*Сон*

*Фермата*

*«Зачем вы меня мучаете?»*

*В этой области скорби и плача*

*Ползи, Смирнов, ползи*

*Слишком много и крови и поту*

#### IV. УХОДЯЩЕМУ – ПОКЛОН

*Пустоте, черноте, уходящим годам*

Уходящему – поклон. Остающемуся – братство

ПАМЯТИ БОРИСА ЧИЧИБАБИНА

1. «О, мать смерть, сними с меня усталость»

2. «Я почувал беду»

1. ПАМЯТИ ЮРИЯ КАРАБЧИЕВСКОГО

2. Заглянувший в бездну

Ю. Карабчиевский, «Я прожил жизнь не хуже, чем пытался»

*Опять утрата и урон*

*Миру всякая смерть, как слону дробина*

*Уйти легко, а вот остаться*

*Дней ослепительные вспышки*

*Кипень вся июльская, весь жасмин*

О Евгении Самойловне Ласкиной

Памяти Григория Михайловича Левина

*И все же уговор жестокий*

*А чем здесь платят за постой*

*За концом, пределом, краем*

*А жизнь идет без передышки*

#### V. МЕМУАРЫ. ФЛЕР И ДЫМКА

*Моя любовь, мое проклятье*

Путевые заметки

*Осенний ветер гонит лист*

*Ни горечь, ни восторг, ни гнев*

*Лететь, без усталости скользить*

Слово о библиотеке

*Мемуары, флер и дымка*

*Люблю начало речи плавной*

#### VI. ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ

*Так и маемся на воле, как бездомные*

Упоение заразительно

Печальное равновесие

Давайте говорить

Островок безопасности

О преимуществах хвоста перед копчиком

#### VII. ЭНЕРГИЯ ОТЧАЯНИЯ

Зеркало для героя

Уютный дом с видом на бездну

Энергия отчаяния

Глубокомысленно о несущественном

*Из года в год играем пьесу*

#### VIII. ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

1996:

*Что держит на плаву – Бог весть*

*Так к чему же все свелось?*

*Дождь идет да идет*

*На том стою, на том*

*Все осока да герань*

*Стояло лето, и стояли*

*Батарейка кончилась у меня в часах  
Сплошная текучка, сплошная текучка  
Что кроме странствия, что кроме  
Цвет желтый – это цвет измены  
Не плачь! Ведь это понарошку  
Строчка, сверкнувшая в темной ночи  
Музыка, музыка, музыка, мука  
Все эти времена лихие  
Все дело в том, что дела нет  
"Tombe la neige", – хрипловато поет баритон*

1997:

*Но уходя бесповоротно  
И лишь в последний день творенья  
Ничего не выгорит  
А кстати... Впрочем, все не кстати  
Как Бог на душу положит...  
Держусь за воздух, за весенний  
На чем все держится? На честном  
Живи, покуда поглощен*

*Заметки, записи, штрихи, наброски,  
Стихи... Какие там стихи? Полоски,  
Полоски тёмные на фоне белом...  
Давным-давно пора заняться делом,  
А не строкой, что прихотливей дыма,  
Течет и вьётся мимо смысла, мимо  
Любого замысла и всякой цели,  
И мимо тех, к кому душой летели.*

## **I. ТАКОЕ ВОТ КИНО**

*Пена дней, житейский мусор,  
Хлам и пена всех времен.  
Но какой-нибудь продюсер  
Будет ими так пленен,*

*Что обычную рутину  
С ежедневной маетой  
Переплавит он в картину,  
Фонд пополнив золотой.*

*Будут там такие сцены  
И такой волшебный сдвиг,  
Что прокатчик вздует цены,  
Как на громкий боевик.*

*...Сотворил Господь однажды  
Нет, не мир, а лишь сырец,  
Чтоб, томим духовной жаждой,  
Мир творил земной творец.*

## **ХОЛМЫ ТОСКАНЫ**

Один из своих фильмов Отар Иоселиани назвал словами из Библии “И стал свет”. Его новая картина “Маленький монастырь в Тоскане” тоже могла бы называться библейской строкой: “И был вечер и было утро”. Если бы меня спросили, о чем фильм, я бы сказала - о жизни. О жизни мирской и монастырской, монотонной и многоцветной, как небо, которого так много в Тоскане.

Где больше неба мне - Там я бродить готов, И ясная тоска меня не отпускает От молодых еще воронежских холмов К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане. Я вспоминала эти мандельштамовские строки, когда смотрела фильм. Холмы в Тоскане и впрямь “всечеловеческие”. Земля, которую показал Иоселиани, азбучно проста и первозданно прекрасна: трава, кустарники, просторы. Монахи в черных сутанах читают молитвы и кладут поклоны, женщина споро гладит монастырское белье, мужчины ловкими, привычными движениями сгребают траву. Всему свой черед. Создатель фильма нетороплив. Да и есть ли он вообще, создатель? Кажется, будто фильм творит себя сам, как жизнь, которую наблюдает и запечатлевает художник, бродя вокруг и внутри монастырских стен, задерживая взгляд на одном, другом, третьем. Но постепенно проклеивается - нет, не сюжет - контекст, в котором все приобретает особый смысл. Две вещи, два явления, оказавшись по воле автора рядом, вступают в новые отношения, согласуются или конфликтуют, тянутся друг к другу или враждуют.

Холмы, небо, негромкий разговор людей, занятых полевыми работами. Гармония. Холмы, небо, застолье, многоголосое мужское пение за доброй кружкой вина (кстати, так напоминающее спевку в каком-нибудь горном грузинском селении). Гармония. Холмы, небо, охотники с ружьями, лай собак, стрельба, окровавленная туша, которую, аккуратно завернув, укладывают в багажник автомобиля. Нет гармонии: она убита. И снова холмы, небо, монастырские стены и вдруг - предсмертные муки живой твари, судороги, кровь, вспоротое чрево: оснащенный современной техникой цех по обработке свинины, хорошо отлаженный процесс, почти ритуал, который нам показывают так же неспешно, как монастырскую трапезу, службу или пикник на свежем воздухе. Нет гармонии. Мучительный диссонанс.

Вечер. Время отдыха. Нарядная толпа. Дамские ножки в тонких чулках и лакированных туфлях, мужские - в блестящих штиблетах. И неожиданно крупным планом - пробитые гвоздями ступни распятого Христа.

О чем все это? Да ни о чем. Автор не проповедует и не порицает. Имеющий глаза да видит.

На премьере фильма в ЦДЛ кто-то из зрителей прислал Иоселиани записку: "Что вы имели в виду, назвав свой предыдущий фильм Охота на бабочек?" - "Ничего, - ответил режиссер, - просто Охота на бабочек и все." Кто-то мудрый однажды изрек: "Если надо объяснять, то не надо объяснять". По-моему именно этого правила придерживается Отар Иоселиани. Он никого ни к чему не призывает, ничего не навязывает. Просто берет старую-старую гамму из семи нот и, расположив эти ноты по своему усмотрению, творит неповторимую музыку, лукаво делая вид, что у музыки нет творца. Но творец есть. И роль его велика. Единственное, что он навязал нам - это темп, предложив пожить в его *lento* вместо привычного *presto*. Не все сумели переключиться. Кто не сумел, ушел. Оставшиеся были вознаграждены.

1994

## ПЕВЧИЙ ДРОЗД И БАБОЧКИ

В фильмах Отара Иоселиани нити жизни видны так же отчетливо, как линии на ладони или ребра на рентгеновском снимке, и никакие пестрые одежды и яркий макияж повседневности не способны эти нити скрыть. Их постоянно задевают, цепляют, дергают и удивляешься не тому, что они в конце концов рвутся, а тому, как упорно сопротивляются.

В фильмах Жил певчий дрозд и Охота на бабочек много общего. В обоих присутствует тема рока, в обоих она лишена патетики. Более того, в Певчем дрозде она звучит почти анекдотично. То с балкона падает кадка с цветком, едва не убив главного героя, то его подстерегает открытый люк колодца. В Бабочках та же тема возникает в виде радиоголосов, бесстрастно констатирующих число погибших в горячих точках мира или крупных авариях. Рок играет с людьми в кошки-мышки, пока не настагает окончательно. Да нет, какой там рок. Идет обыкновенная охота на бабочек. Разве человек - не бабочка-однодневка? Живет, надеется, строит планы - и в долю секунды гибнет под колесами автомобиля или в железнодорожной катастрофе.

Когда подумаешь, чем связан с миром,  
То сам себе не веришь: ерунда!  
Полночный ключик от чужой квартиры,  
Да гривенник серебряный в кармане,  
Да целлулоид фильма воровской.

Но даже если ты связан с миром не ключом от чужой квартиры, как бездомный, гонимый Российский поэт, а тяжелой связкой ключей от родового замка, как

французская аристократка (персонаж фильма Охота на бабочек), то и тогда ты уязвим и смертен. Для смерти все равны. Ей, как нынче говорят, без разницы - нищий ты или крез, наследник богатейшей культуры или богатой недвижимости. Все одинаково балансируют на грани небытия.

В обоих фильмах сюжет почти отсутствует. Вместо него - поток жизни, рутина с ее мельчайшими подробностями, к которым так чутка и внимательна камера. У создателя фильма взгляд одновременно цепкий и беглый. Он не пропускает ни единого завитка в прихотливом узоре жизни. Но, задержавшись на одном, успевает вовремя соскользнуть на другой, даруя картине динамизм и воздух.

Новый фильм, то и дело окликает старый. В обоих приятели, родственники, соседи, коллеги постоянно встречаются для совместного застолья, музицирования, игры в крокет, молебна. И там и здесь течет нецеленаправленная, лишенная сверхзадачи (хоть и размеренная в Бабочках и безалаберная в Певчем дрозде) жизнь.

Однако, несмотря на все переключки, эти два фильма разделяет ПРОПАСТЬ. Новый абсолютно лишен той пронзительной ноты, которая звучала в старом. Откуда она бралась, не знаю, но вспоминаю два рифмующихся кадра: спевки в Певчем дрозде и репетицию любительского духового оркестра в Бабочках. В первом случае многоголосое протяжное, хоровое пение превращает поющих в живой организм.

Бестолковое, путаное, будничное уходит, уступив место соборному действию, радению. Происходит катарсис, вызывающий слезы.

Во втором комичное и немного грустное времяпрепровождение надоевших друг другу людей.

В старом фильме все персонажи связаны друг с другом сердечными узами, которые ни досада, ни обида, ни раздражение не в силах порвать. Жил певчий дрозд о тех, кто живет открыто и щедро, полностью выкладываясь "в гульбе и пальбе".

Помню всех: самого Гиви, его девушек, приятеля-хирурга, знакомого часовщика, коллег-оркестрантов, дирижера, многочисленных родственников, старушку мать.

Помню то щемящее чувство, которое возникло, когда Гиви, забавы ради разглядывая в подзорную трубу окна собственного дома, неожиданно и будто впервые видит свою мать - морщинистую, седую, маленькую.

В Бабочках тоже есть старухи. Глядя на одну из них, я шепнула своей приятельнице: "Какой замечательный типаж!" и в продолжении всего фильма ни на секунду не забыла, что это типаж. Лица почти всех персонажей-старух, пританцовывающих кришнаитов, бурно ссорящихся супругов, партнеров по игре в крокет и уж, конечно, японцев (им это свойственно по определению) непроницаемы и как бы зашторены. По-настоящему выразительна лишь молодая московская хищница. Она живет на полную катушку.

Остальные только имитируют жизнь. В застолье нет радости, в музицировании - музыки, в играх - веселья, в молитве - веры, в похоронах - скорби. Каждый, как сервизная чашка, упакован в пенопласт: вроде бы и рядом, а на деле врозь. Вот одна из обитательниц замка кормит завтраком парализованную кухню, терпеливо втолковывая ей, какие и когда принять лекарства. Забота? Конечно. Забота, продиктованная долгом и привычкой. Любви, жалости, привязанности, простых человеческих движений души я там не почувствовала.

В одном нет сомнений: существует нерасторжимая, лишь смертью прерываемая сердечная связь с прошлым. Старыми дагерротипами завешаны все стены замка. Старые вещи живут на полках. Тени давно умерших бесшумно бродят по замку.

Парализованная старуха постоянно листает альбом с фотографиями бог весть каких времен. Или разглядывает их с помощью таксифота (опять переключка с Певчим дроздом: подзорная труба, в которую смотрит Гиви).

Создается впечатление, что все живое осталось там, в прошлом. А в настоящем - лишь инерция жизни, ее подобие. Кажется, сама камера не испытывает особой нежности к персонажам, приберегая ее для осенних красок, воспоминаний и предметов, покрытых патиной.

В чем же дело? Что изменилось - мир или отношение к нему художника? Конечно,

Певчий дрозд не мог быть сегодня снят на грузинской земле (и не только по техническим причинам). Но мог ли этот нежный и горький фильм возникнуть нынче в какой-нибудь другой точке планеты? А может быть, Охота на бабочек это и есть Жил певчий дрозд сегодня?

1994

## СТАРЫЙ ЗОНТИК

Недавно по телевизору показывали грузинскую короткометражку Зонттик (режиссер Михаил Кобахидзе). Фильму тридцать лет. В историческом масштабе всего ничего, а кажется, что действие происходит не только в другую эпоху, но и на другой планете. Собственно, никакого особого действия нет. В горном местечке возле железнодорожного полотна живет молодой грузинский парень. Работает стрелочником. У него есть коза, которую он доит по утрам, и флейта, на которой он играет в свободное от работы время. Играет старательно, но фальшиво. Что не мешает ему иметь внимательного и благосклонного слушателя в лице очаровательной юной особы. В одно из таких лирических мгновений, когда ОН играл, а ОНА внимала, из воздуха и в воздухе возник легкий лукавый танцующий зонттик. И танцевал он не под неумелые звуки, которые извлекал из флейты юноша, а под свою собственную чистую, как горный ключ, мелодию. Вскоре под нее уже танцевали двое влюбленных. Впрочем, это был не столько танец, сколько погоня за мечтой, попытка поймать неуловимое, остановить мгновенье. Иногда это почти удавалось, но, прикинувшись ручным и послушным, зонттик каждый раз непременно выскользнул из рук и, покачиваясь (чуть не сказала - улыбаясь), уплывал все дальше и дальше. Оказавшись в какой-то момент в руках случайного прохожего - молодого и симпатичного - он едва не сыграл роль разлучника. Но все обошлось: девушка, устремившаяся за счастливым обладателем зонттика, образумилась и вернулась к своему стрелочнику, а прохожий скрылся за поворотом, где своенравный зонттик наверняка (хоть нам этого и не показывают) вырвался на свободу и растворился в воздухе. Навсегда. Потому что навсегда ушла жизнь, рождавшая подобные миражи и фильмы. В нынешней жизни, в нынешнем воздухе такой зонттик появиться не может - то ли вредных примесей избыток, то ли ветры не те. А если бы вдруг и появился, то вряд ли бы его заметили - слишком много вокруг хитроумных штучек, чтоб отвлекаться на подобную ерунду. А если бы и заметили, то вряд ли бы стали ему удивляться и его ловить. Кому он нужен? Сейчас такие не в моде.

1996

## КАРТИНА ПИРОСМАНИ

Тихо заняли места  
К долгой трапезе готовы:  
Позы чинны и суровы,  
Скатерть белая чиста.

Медлит с чашею рука.  
Все возвышенно и строго.  
Потечет вино из рога.  
Потечет из бурдюка.

Славьте, добрые мужи,  
Живописца из Кахети,  
Без него ушли бы в нети  
Эти ваши кутежи.

Лишь по милости его  
Вы, подняв большие роги,  
Ясноликие, как боги,  
Живы все до одного.

1985

## ВПЕРЕД, ЗА МАКСИКОМ

Облако рай и Окно в Париж - что, казалось бы, общего между этими столь разными фильмами, которые мне довелось недавно посмотреть. Однако общее есть. И в той и в другой картине идет знакомая до боли, до нервной зевоты, до отвращения жизнь. В фильме Николая Досталю она даже и не идет, настолько самой себе обрыдла, а стоит на месте. Разве это жизнь, если все наперед известно: кто куда спешит, что хочет купить, какие вопросы собирается задать, какие ответы получить.

Две бабули на скамеечке даже и не утруждают себя беседой: зачем, если все говорено. И будни на одно лицо, и выходные. Придет Колька к своему другу Феде, поговорят они про погоду, выпьют по маленькой, и день прошел. "Да что ты заладил: дождь обещаю, дождь обещаю. Хоть бы что-нибудь новенькое сказал", - простонала Фекина жена, глядя на Колю потухшим взглядом. И так захотелось ему сказать "новенькое", что он неожиданно для себя самого брякнул: "Уезжаю к другу на Дальний Восток". Сказал и сам испугался. Но слово не воробей.

Никому теперь не объяснишь, что нет никакого друга на Дальнем Востоке и ехать некуда и незачем. Да и разве простили бы Кольке земляки, если бы он, сообщив им такую сногшибательную новость, вдруг все отменил, лишив людей возможности удивляться, плакать, мечтать. Одним словом, жить на полную катушку.

Как сладко и грустно вертеть в руках глобус и, отыскав свой крошечный поселок, мерить взглядом расстояние, которое скоро будет разделять их и Кольку. Подумать только: он - такой никчемный, недотепистый, неказистый, как пейзаж за окном, вдруг взял, да и круто изменил свою судьбу. И неважно, что они остаются. Ведь он на своих башмаках увезет их землю, к ним будут издалека лететь его письма. Значит, и они причастились чуду.

А Колька, ошеломленный собственной выдумкой, потрясенный небывалым вниманием к своей скромной персоне, измученный выяснением отношений с любимой девушкой, напуганный предстоящим отъездом в никуда, лежит на диване в опустевшей комнате (всю остальную мебель перетащили к себе оборотистые соседи, весьма похожие на

соседей героя фильма Юрия Мамина Окно а Париж), и глядит в потолок. Да нет, не в потолок, в чистое небо (воистину, крыша поехала), и в душе его рождается песня про облако рай.

Вот какие чудеса: вместо потолка - небо, вместо стены - окно в Париж. Конечно, Питер - не заштатный полугород, и жизнь в нем разнообразнее и пестрее, но душно бывает и там.

Наперед известно, как потекла бы жизнь в предложенных обстоятельствах, если бы не черный кот Максик, открывший обитателям квартиры волшебное окно.

О, какое растроганное и счастливое лицо у Чижова, когда он гуляет по улицам легендарного города. Еще бы, не каждому удастся попасть в мечту. Да еще так просто - через окно.

Впрочем, так уж неоспоримо прекрасна эта неведомая жизнь? “Думаешь, кому-то здесь нужно твое вечное искусство?, - горячится эмигрант Гуляев. - Черта с два. Ничего им не нужно. Они всем пресытились”. И как бы в подтверждение этих слов Чижову предлагают место пианиста в шикарном клубе нудистов. “Я не стану играть Моцарта без штанов”, - негодует он.

Вот тебе и “облако рай”. Не попал на это облако герой фильма Мамина. Вряд ли попадет и Колька. Царство Божие внутри нас.

И все же, все же. В обоих фильмах пространство преломилось, в стене образовалась брешь, над головой вместо потолка - облако, все озарилось нездешним светом, и неслыханное, невиданное стало почти реальностью. И не хочется думать о том, что “на свете счастья нет”, да и покой и воля тоже весьма проблематичны. Не хочется повторять ехидную мудрость: “хорошо там, где нас нет”. А хочется вспоминать потрясенное лицо Кольки, напевающего нехитрую песенку собственного сочинения. Хочется снова и снова вспоминать, как в глубине темного шкафа что-то забрезжило, как таинственно и нежно зазвучал Шопен, под звуки которого герои фильма, сами того не ведая, вылезли на парижскую крышу. Хочется идти и идти за черным котом Максиком, открывающим новые горизонты.

1994

\* \* \*

Да разве можно мыслить плоско,  
Когда небесная полоска  
Маячит вечно впереди,  
Маня: “Иди сюда, иди”.  
Маячит, голову мороча,  
Неизреченное пророча,  
Даруя воздух и объем,  
Которые по капле пьем  
Из голубой бездонной чаши...  
Отсюда все томленье наше,  
Неутолённость и печаль...  
Попробуй к берегу причаль,  
Когда таинственные дали  
Постичь идущему не дали  
Ни первым чувством, ни шестым,  
Что там, за облаком густым.

1989

## ОН ЖИВОЙ И СВЕТИТСЯ

Недавно по телевизору шел фильм Марлена Хуциева Застава Ильича. Когда в 64-м я смотрела его в кино, он назывался Мне двадцать лет. Помню разговоры о том, что картину долго мариновали и наконец выпустили в отредактированном виде. Тем не менее фильм меня потряс, и по горячим следам я написала одно из самых первых своих стихотворений. Оно было посвящено моему отцу, погибшему на фронте в 42-м, и кончалось строчками, навеянными сценой встречи героя фильма с убитым на войне юным отцом: “Первые минуты января, я уже чуть-чуть взрослей тебя”. Тогда же я затеяла что-то вроде рецензии, но, не справившись с задачей, бросила. И вот теперь, жизнь спустя, приступаю снова.

Четыре часа (два в субботу и почти столько же в воскресенье) мы с сыном сидели у телевизора и, не шелохнувшись, смотрели на экран. Шел фильм Застава Ильича в авторской редакции. Когда фильм кончился, и сын попытался выяснить мое впечатление, я растерянно молчала. Он знал, как я ждала картину, как вспоминала о ней, как хотела, чтоб и он ее увидел, и вот свершилось. Что сказать? Мной владела полная сумятица чувств: восхищение, разочарование, волнение, досада. Наверное, нечто подобное испытывает тот, кто после большого перерыва попадает в дом своего детства, где все кажется странным: узнаваемым и неузнаваемым, родным и чужим.

Я была поражена заидеологизированностью фильма, упрощенностью диалогов и монологов. Неужели когда-то мы все это принимали всерьез и даже считали картину вольнодумной, дерзкой, бросающей вызов системе? Почему? Потому, наверное, что рефлексия, попытка переосмыслить жизнь, неудовлетворенность, внутреннее беспокойство, владеющее героями, воспринимались, как некий вызов эпохе ясных, бесспорных, раз навсегда заданных ценностей и задач.

До чего интересно тридцать лет спустя увидеть себя двадцатилетнего. “Ты веришь в коммунизм?”, - где-то в начале 60-х спросил меня мой друг, писавший вполне искренние стихи, в которых были слова: “А на земле, в той части, где весна...”.

Имелась в виду вечно юная, родная шестая часть суши. Нет, тексты, произносимые в фильме, не резали нам слух. Мы и сами так разговаривали. Но если сегодня они поражают своей ходульностью, что же заставило меня два дня подряд сидеть у телевизора? Неужели только сентиментальное чувство, вызванное встречей с собственной юностью?

Ответить на этот вопрос мне помог сын, который, выслушав мои сетования по поводу убожества словесной ткани, вдруг сказал: “А все равно фильм трепетный”. Мой двадцатилетний мальчик, лишенный тех иллюзий, что были у нас, читающий книги, о которых мы в его годы и слыхом не слыхивали, почувствовал главное и подсказал мне точное слово.

Трепетность - вот что меня поразило в 64-м и удержало у экрана тридцать лет спустя. Я тут же вспомнила рассказ Драгунского о мальчишке, поймавшем светлячка: “Он живой и светится”.

Каждый кадр фильма пульсирует и дышит. Будничное, пустынное выходит на первый план и начинает жить своей особой, неповторимой жизнью. Вот герой, внезапно проснувшись на заре, встает, чтоб закрыть плотнее кран, и обнаруживает, что капает не из крана, а с крыши. Он стоит у окна и слушает первую капель, пока его младшая сестра шепчется по телефону с другом, с которым только что рассталась.

И ты уже втянут в волшебное поле, в котором живут взволнованный шепот, звук капели, утренний озноб и сладостно-горькая весенняя тоска, заставляющая героев бродить ночами.

А помните качели в парке, в котором Сергей обычно встречался со своей девушкой? Влюбленные уходят, а качели, задетые ее рукой, все раскачиваются.

А помните, конечно, помните, как танцевали Сергей и Аня на вечеринке у друзей? Не танцевали, а медленно плыли под музыку. Вернее, плыли не они, а две горящие свечи

в руке у Ани, два пламени, трепещущих во тьме, два огня, готовых не то погаснуть, не то разгореться, два шепота: “Ты меня любишь?”, “А ты меня?” Фильм необычайно просторен. Просторен город - ночной, утренний, вечерний, пустынный, суетный - всякий. Просторен двор, в котором то танцуют, то ссорятся, то встречаются на бегу. Просторна лестница в музее на Волхонке и парадное в Анином доме. И даже коммуналка Сергея, и битком набитый автобус, в котором он впервые увидел Аню, и те кажутся просторными.

Удивительно, что, несмотря на идейную духоту, в которой жили герои фильма, несмотря на клишированность и прямолинейность текста, в картине столько воздуха, света, простора.

Впрочем, если не слышать слов, то увидишь, что фильм о вечном: о тоске по цельности, по неразрывной связи времен, полноте и осмысленности жизни, о томлении по абсолюту, о жажде сочувствия и любви.

Взволнованность, романтика, чистота - неужели все это уходит в прошлое, как ненужный, смешной, старомодный хлам? Что же нам остается? Мышцы? Челюсти? Высокие децибелы и стучащие ритмы? Холод?

Впрочем, “довольно кукситься”, как писал поэт. Надо радоваться, что в столь неласковое время мы посмотрели фильм, о котором можно сказать: “Он живой и светится”.

1994

\* \* \*

Совсем одни в большом и неуклюжем  
Пустынном городе с тобою кружим;  
Приходим на покинутую площадь,  
Где в лужах перья голуби полощут,  
На площадь с опустевшими домами,  
Как в комнату, где мебель под чехлами;  
Блуждаем, переулками кружа,  
Владыки города и сторожа;  
Для нас одних и тополиный пух  
И птичьи голоса тревожат слух;  
Когда же ночь безлунна и крута,  
Стеречь нам городские ворота.

1966

\* \* \*

Нас годы предают,  
Нас годы предают,  
Нас юность предает,  
Которой нету краше,  
И птицы, и ручьи  
Весенним днем поют  
Не нашу благодать,  
Парение не наше.

Лети же юность, прочь.  
Я не коснусь крыла  
И не попомню зла  
За то, что улетела.  
Спасибо, что была,  
Спасибо, что вольна –  
И улетела прочь  
Из моего предела.

И я учусь любить  
Без крика “подожди!”,  
Хоть уходящим вслед  
С отчаяньем гляжу я.  
И я учусь любить  
Весенние дожди,  
Что нынче воду льют  
На мельницу чужую.

1972

## ТАКОЕ ВОТ КИНО

Лето мы обычно проводим на Николиной Горе, где снимаем, - не скажу дачу, - скорее сторожку, открытую всем ветрам и дождям. Но позапрошлый август был на редкость теплым и солнечным. И еще он был примечателен тем, что в нашем поселке снимали фильм, который одни называли Голубой чашкой, другие Шаровой молнией. Кино снималось на центральной аллее: куда не пойдешь - в магазин, в контору, на автобусную остановку, - непременно увидишь съемочную площадку. А на ней творились чудеса. Там работала машина времени, возвращая из небытия дорогие памятные вещи: крашеную лошадь-качалку с “настоящим” хвостом, плетеную коляску, корыто, стиральную доску. И все это валялось в кузове допотопного зеленого грузовика с тупым носом и откидывающимися бортами. Я специально таскала на съемочную площадку своих сыновей, чтоб они поглядели на дачный скарб моего детства. В прозрачные августовские дни 93-го снимался один и тот же эпизод: из ворот дачи, возле которых стояла черная довоенного вида машина, негромко переговариваясь, выходили люди в светлых одеждах, останавливались у края песчаной аллеи и вдруг начинали петь: “Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он...”. И от этого тихого пения, легких одежд, летней светотени, стройных сосен возникало чувство гармонии и покоя. Хотелось остановить мгновение, и оно послушно останавливалось. Вернее, возвращалось. Снимался дубль за дублем. Люди в белом исчезали, появлялись снова, девочка в белых носочках садилась в машину, машина трогалась, девочкина мама в сотый раз ей наказывала: “Надя, только до поворота и обратно”. О

чем все это? Кто эти люди? Куда едет машина? Все выяснилось этой осенью, когда я посмотрела фильм Никиты Михалкова Утомленные солнцем. Ностальгическая дымка развеялась и оказалось, что и люди в белом, и черная машина, и зеленый грузовик, груженный милыми моему сердцу вещами, - все это следует в одном направлении. Место назначения - АД. Куда же еще можно попасть, живя в России? Если есть здесь "баловни судьбы", то ими могут считаться те, кто прожил жизнь у врат ада, так и не войдя внутрь. Утомленные солнцем - не только о прошлой жизни, но и нынешней. Танки, ревушие и грохочущие в начале фильма, до сих пор режут и грохочут. И до сих пор люди мечутся среди этого металла и дыма - то в Москве, то в Грозном. Прошло полвека с того летнего дня, о котором картина, а бред все длится. И что ни акция, то сюр, подобный тем кадрам из фильма, когда граждане в противогазах бегают по берегу реки, хватая и насильно укладывая на носилки всех подряд. И захочешь спросить зачем, почему, кто распорядился, - да не сможешь, не найдешь лица. Одни маски да хоботы.

Нет в России идиллии и не было никогда. Но, как ни странно, были и есть счастливые. Мои самые ранние райские воспоминания - послевоенное детство в Замоскворечье: коммуналка на первом этаже, распахнутое летом окно, одновременно служившее дверью, сирень под окнами. Жизнь моя протекала в обычной для тех лет семье: бабушка, дедушка, мать. (Отца не было, он погиб на фронте.) В обычных по тем временам условиях: взрослые с утра до вечера на работе, я - во дворе. Ни хроническая нехватка денег, ни открытая форма туберкулеза у соседа, ни громкие выкрики и стоны его умственно неполноценной дочери не могли омрачить моего детства. Ведь все мои близкие были рядом. Со мной не случилось того, что с Любой и Саней, жившими несколькими этажами выше: их отца - военного хирурга - увели ночью, а мать покончила с собой.

"Утомленное солнце нежно с мо, нежно с мо, нежно с мо...", - так звучало знаменитое танго в Гаграх начала пятидесятых. Пластинку, которую каждый вечер крутили перед сеансом, постоянно заедало в одном и том же месте. Гагры - еще один благословенный уголок моего детства. Я часто вижу его сегодня в кадрах кинохроники: пустые пляжи, разгромленные покинутые дома, изуродованные деревья, измученные лица. "Край родной, навек любимый, где найдешь еще такой?" В самые острые дни чеченского кризиса один молодой корреспондент в своем телерепортаже с места событий сказал, что труднее всего даже не находиться под пулями, а, вырвавшись на время домой в Москву, возвращаться снова в этот ад. Несмотря на то, что Бог миловал, и я никогда не бывала в горячей точке, хорошо понимаю, о чем он говорит. Нечто подобное (хотя конечно же на ином уровне) испытывала, когда возвращалась из-за рубежа на родную землю. Трудно, пожив в нормальной стране среди нормальных людей, чувствовать, как привычно напрягаются мускулы тела и мышцы лица, будто кто-то привел тебя с состоянии повышенной боевой готовности. И удивительно, что то же самое переживают и те, кто много моложе меня. Мне на глаза попались опубликованные в газете Сегодня записки юной фотомодели, которая какое-то время работала за рубежом. Вот что она пишет о своем тамошнем самочувствии: "Мы бредем троим по тихой улочке мимо невысоких белых домов, утопающих в зелени по самые черепичные крыши. Мы жуем бананы, синие в свете звезд, и заглядываем в окна первых этажей... Здесь такой покой, которого я не чувствовала на Переяславке или на Глаголева. Я привыкла к мысли, что опасность подстерегает на каждом шагу". Наверное, эта тревожность - у нас в крови, в генетической памяти. "Мой дом - моя крепость" - к сожалению, это не про нас. Шаровая молния шарит по стенам в фильме Михалкова. Снега и дожди идут сквозь крышу в фильмах Тарковского. Я много раз читала, что западный актер, даже будучи высоким профессионалом и прекрасно владея техникой игры, все же не способен подняться до тех высот, до каких поднимаются лучшие актеры русской школы. Западный актер играет то, что написано: любовь - так любовь, разлуку - так разлуку, гибель - так гибель. В исполнении нашего актера безмятежный час души всегда чреват взрывом, счастье имеет горьковатый вкус,

а отчаянье - не без проблеска надежды. Следуя этой традиции, хочу разбавить мрачные краски светлыми тонами и кончить на мажорной ноте:

...И все же надо жить и петь,  
Коль петь однажды подрядился.  
И надо верить, что родился,  
Чтобы от счастья умереть.

1995

\* \* \*

Давайте отменим вселенскую гонку.  
Давайте прокрутим назад кинолентку.  
Пусть нас обратно к истокам снесет,  
Покуда пространство совсем не всосет,  
Заставив в безвременье ждать воплощенья.  
Нам нету пощады и нету прощенья.  
Нам было пространство и время дано,  
А мы показали плохое кино.  
За то, что плохое кино показали,  
Достойны того, чтобы нас наказали.  
Коль ленты не в силах придумать иной,  
Пусть длится безмолвие в вечность длинной.

1988

\* \* \*

Обобщаем, обобщаем.  
Все, что было, упрощаем.  
Хладнокровно освещаем  
Века прошлого грехи.

И события тасуя,  
Имена тревожим всуе.  
Нам история рисует  
Только общие штрихи. –

– Суть, причина, вывод, веха.  
А подробности – помеха.  
Из глубин доносит эхо  
Только самый звучный слог.

Лишь любитель близорукий  
Том старинный взявши в руки,  
Отголоски давней муки  
Обнаружит между строк.

А детали, оговорки,  
Подоплека и задворки,  
Потайная жизнь подкорки –  
Роскошь нынешних времен,

Принадлежность дней текущих,  
Привилегия живущих,  
Принадлежность крест несущих  
Ныне страждущих племен.

Это нам, покуда живы,  
Смаковать пути извивы  
И оттенки нашей нивы.  
А потомки, взявши труд

Оценить эпоху в целом,  
Век, где мы душой и телом,  
Черной ямой иль пробелом  
Может статья, назовут.

1975

\* \* \*

Жить сладко и мучительно,  
И крайне поучительно.  
Взгляни на образец.  
У века исключительно  
Напористый резец,  
Которым он обтачивал,  
Врезался и вколачивал,  
Врубался и долбил,  
Живую кровь выкачивал,  
Живую душу пил.

1985

\* \* \*

Идет безумное кино  
И не кончается оно.  
Творится бред многосерийный.  
Откройте выход аварийный.  
Хочу на воздух, чтоб вовне  
С тишайшим снегом наравне  
И с небесами, и с ветрами  
Быть непричастной к этой драме,  
Где все смешалось, хоть кричи,  
Бок о бок жертвы, палачи  
Лежат в одной и той же яме  
И кое-как и штабелями.  
И слышу окрик: "Ваш черед.  
Эй, поколение, вперед.  
Явите мощь свою, потомки.  
Снимаем сцену новой ломки."

1987

\* \* \*

А на экране, на экране  
И жизнь, и смерть; и слез, и брани  
Поток; и лес вздетых рук,  
Но нету звука. Дайте звук.  
О, неисправная система:  
Беззвучно губят, любят немо.  
Как в неозвученном кино,  
Стучу в оглохшее окно,  
Зову кого-то и за плечи  
Трясу, не ведая, что речи,  
Что дара речи лишена,  
И вместо зова — тишина.

1982

\* \* \*

И проступает одно сквозь другое.  
Злое и чуждое сквозь дорогое,  
Гольная правда сквозь голый муляж,  
Незащищенность сквозь грубый кураж;  
Старый рисунок сквозь свежую краску,  
Давняя горечь сквозь тихую ласку;  
Сквозь безразличие жар и любовь,  
Как сквозь повязку горячая кровь.

1988

## II. НА НИКОЛИНОЙ ГОРЕ

*Утоли моя печали.  
На закате ль, на заре  
Ветры сосны раскачали  
На Николиной горе.*

*И поскрипывают сосны,  
И качаются стволы...  
Времена, что светоносны,  
Станут горсткою золы.*

*Говорю и тихо плачу:  
Что не вымолвят уста —  
Все сплошная неудача,  
Только общие места.*

*Слово было лишь в начале,  
А потом слова одни...  
Утоли моя печали  
И со Словом породни.*

## СЛЕЗЫ В РАЮ

Летняя веранда заполнена людьми. На сцене за длинным столом восседают старейшины местного племени - племени никологорцев. Над сценой в обрамлении сосновых веток праздничный плакат: "РАНИСУ 70".

Что это за РАНИС такой, что за юбилей они отмечают и стоит ли обо всем этом говорить? Стоит. Потому что жизнь и судьба этого поселка есть жизнь и судьба страны в миниатюре, а конкретный пример всегда красноречивей общих слов и мертвых чисел. Что же такое РАНИС? Это - аббревиатура, которая расшифровывается как "работники науки и искусства". Сегодня эти "работники", а вернее, их потомки отмечают свой юбилей. 70 лет тому назад, в 25-ом году группа энтузиастов, среди которых был один из первых идеологов и теоретиков кооперативного движения А.В.Чаянов, объединились и создали кооперативный поселок в одном из красивейших уголков дальнего (по тем временам) Подмосковья - на Николиной Горе, расположенной в Звенигородском уезде на высоком берегу Москва-реки. Когда-то здесь стояла церковь "Николы-на-Песку", и при строительстве одного из первых домов лопата то и дело наткалась на могильные плиты древнего погоста. Первые поселенцы жили почти в лесу - мощном, хвойном. Эти места знамениты своими корабельными соснами. Вот и правительственный санаторий, возникший в 35-ом году и отхвативший большую часть леса, так и называется "Сосны". Но семьдесят лет назад его и в помине не было. На километры тянулись вольные леса, полные почти исчезнувшей нынче флоры и фауны, о которой с жаром и печалью вспоминали старожилы на своем юбилее. То и дело звучали названия - "Лысая Гора", "Окна", - которые для меня, новичка, звук пустой, а для старых никологорцев - музыка. "Там анемоны росли, анемоны", - кричали они с мест, помогая очередному "вспоминателю", - "тетерева водились, белые прямо на участке собирали".

Слушая все это, я вспоминала, как впервые попала на Николину гору где-то в середине 40-ых. Какова была цель поездки, не знаю. Видимо, мама, выполняя очередное редакционное задание, приехала, чтобы взять интервью у кого-то из великих, которыми "изобиловали" эти края. Из всего путешествия помню одну-единственную картинку: я выхожу из черной легковушки (откуда она взялась, понятия не имею) и оказываюсь в верхней точке светло-желтой песчаной дороги, круто сбегаящей вниз к реке. Яркое солнце, золотой песок под ногами, серебряная вода вдалеке - эту ослепительную картинку я запомнила на всю жизнь и когда в детстве слышала слово "рай", немедленно представляла себе "Николину Гору". Появившись здесь снова в 89-ом, я попыталась найти ТО место, но не смогла. Видимо, оно исчезло вместе с анемонами, белками, тетеревами, "окнами", "Лысой Горой" и прочим.

Если бы Н.Г. славилась только своими красотами и знаменитыми жителями (назову лишь несколько наиболее громких имен: Нежданова, Барсова, Качалов, Книппер-Чехова, Прокофьев, Мясковский, Гольденвейзер, Рихтер, Вересаев, О.Ю.Шмидт, Туполев, Ботвинник...), то и тогда о ней стоило бы рассказать. Но поселок уникален не только этим. Он замечателен ТОЙ ОСОБОЙ АТМОСФЕРОЙ, которая царила здесь долгие годы, несмотря ни на что. А точнее, всему вопреки. Это - явление, характерное для всей страны. "Россия - сфинкс", загадавший загадку, никем до сих пор не разгаданную: каким образом в государстве, где с маниакальным упорством истреблялось все лучшее, удавалось сохранить богатую интеллектуальную и художественную жизнь, культурные традиции и заповедники, подобные Николиной Горе.

РАНИС не просто поселок, жители которого скооперировались, дабы совместными усилиями устроить и наладить быт в удаленном от цивилизации месте. РАНИС - содружество людей самобытных и равнодушных, объединенных общим желанием сделать жизнь свою и своих детей богаче и содержательней.

На юбилее старались вспомнить поименно всех, кто создал и "украсил" эту "планету":

замечательных врачей А.Н.Филиппова, отца и сына Мартыновых, Лангового, бесплатно лечивших не только никологорцев, но и жителей окрестных деревень; страстных краеведов А.В.Чаянова и Ф.М.Бородовского, приохотивших детей к раскопкам здешних курганов и изучению местной истории и природы; семейство Шебалиных, устраивавших в течение многих лет концерты классической музыки силами детей - учеников музыкальных школ и взрослых артистов; художников, педагогов, юристов, экономистов, немало сделавших для поселка. Но всех не перечислить. 70 лет - большой срок.

Передо мной альбом, созданный потомственной никологоркой, ныне покойной И.А.Персиковой. Она по собственной инициативе собрала старые документы и фотографии и, снабдив их подписями, составила своеобразную краткую летопись поселка, от которой трудно оторваться. В лаконично изложенной истории каждой семьи деталь о построенной своими руками беседке соседствует с сообщением об аресте в 38-ом; рассказ о веселых никологорских вечерах с пением под гитару и непременными варениками с вишней завершается строкой о расстреле главы семьи, ссылке его жены и отправке в детдом троих малолетних детей; за сжатым описанием научных трудов и перечислением заслуг следует информация о смерти в лагере от авитаминоза; за фразой о веселом нраве и великолепном знании пятнадцати языков - сообщение о ссылке на Соловки. А люди здесь жили удивительные. Что ни имя, то личность. Почти каждый из родоначальников и первых поселенцев достоин отдельного разговора. Вот фотография седовласого и седобородого человека в больших круглых очках. Ниже подпись: Криль Борис Александрович - профессор сельхозакадемии, хорошо рисовал, обладал абсолютным слухом и безупречным вкусом, интересовался искусством и археологией. Его жена - ученица композитора М.К.Метнера. В доме собирались как ученые, так и известные музыканты.

Новая страница альбома - новая судьба. И.Н.Кобленц - крупный библиограф, составитель библиографического словаря - (так до сих пор и неизданного), содержащего сведения более чем о 100 000 деятелях русской науки и культуры. В годы репрессий писал многочисленные письма в защиту репрессированных, хлопотал о том, чтобы вернувшиеся из лагерей были восстановлены в правах членов кооператива. Вот фотография художника и графика А.И.Кравченко, приглашенного на Николину Горы Чаяновым, с которым Алексей Иванович тесно дружил и чью книгу "Фантастические повести ботаника X" иллюстрировал. Строительство дачи Кравченко растянулось на десять лет и когда, наконец, завершилось, новоселье не состоялось, так как почти все друзья были к этому времени уже репрессированы. Умер художник 31-го мая 40-го года в своей любимой никологорской мастерской. На столе остались только что законченные гравюры к "Пиковой даме", которые увидели свет лишь в 81-ом году. Каждый, кто селился на Николиной, в нее влюблялся, и она отвечала взаимностью, даруя большой творческий подъем. Здесь создавалось много картин, книг, научных трудов, музыки. Н.Я.Мясковский, подолгу гостивший у своего друга, музыканта и искусствоведа П.А.Ламма, написал здесь с 11-ой по 27-ую симфонии. Инструмента на даче не было, и, сочиняя без рояля, композитор проигрывал новый опус у живших поблизости Прокофьева и Шебалина. "Молодой Шебалин, - вспоминает Алиса Максимовна Шебалина, - хорошо владевший фортепиано, аккомпанировал Неждановой - и на Николиной Горе, и в селе Успенское, где она пела в зале местной школы. Помню, как все жители села собрались под закрытыми окнами школы и слушали ее пение. Антонина Васильевна попросила открыть окна (она не боялась "простуды"), и ее слушал весь поселок. Возвращалась Нежданова на простой телеге - ее не смущал такой способ передвижения. Помню меня это очень удивило, но "большие" люди Николиной Горы не были гордыми и требовательными".

Павел Александрович Ламм часто устраивал на Николиной выступления своих учеников из студии Большого театра. Бесплатные музыкальные и литературные вечера стали традицией. Была построена специальная веранда, где в разные годы выступали Нежданова, Барсова, Юдин, Шебалин, Вересаев, который несколько лет подряд вел

литературный кружок для николюгорской молодежи. Поэт А.И.Безыменский организовал музыкально-вокальный ансамбль, А.И.Кравченко выставлял свои работы, О.Ю.Шмидт рассказывал об экспедиции на “Челюскине”, Михаил Ботвинник давал местным шахматистам сеанс одновременной игры, перед детьми выступали Сергей Михалков и Наталья Кончаловская. Много позже здесь играл С.Рихтер. Говорят, что, когда он репетировал, вся веранда была снаружи облеплена слушателями. На моей памяти в Николиной давал концерты Н.Петров, Ю.Башмет привозил сюда свой молодой оркестр, а В.Крайнев своих учеников. Этим юбилейным летом пела Надежда Красная, а юная пианистка Маша Лебеденко исполняла произведения своего прадеда Виссариона Шебалина, чьим именем названа аллея, где до сих пор живет его многочисленное семейство.

На юбилейных торжествах много говорили о тех особых отношениях, которые складывались между людьми на Н.Г. и сохранялись на долгие годы. Жили открытым домом, артистично и весело. Много путешествовали на лодках, велосипедах и пешком. Молодежь устраивала вечера, концерты, капустники, маскарады, любительские спектакли. Вспоминали как во время постановки “Бориса Годунова” (эдакой пародии на спектакли Мейерхольда) герой со словами “Достиг я высшей власти” сваливался к восторгу публики на сцену откуда-то с потолка.

Слушаешь все это и диву даешься: как в те кромешные годы мог существовать подобный оазис? Но находясь в аду, он не мог не быть задетым адским пламенем. Длиннен список николюгорцев, погибших в Великую Отечественную, но куда длиннее список тех, чья жизнь оборвалась в эпоху сталинских чисток. Среди репрессированных - А.В. Чайнов и его сподвижники, стоявшие у истока РАНИСА. Оба мартиролога обрамляют ту самую сцену, на которой старейшины вспоминают сегодня не только светлые, но и черные дни, когда появлялась очередная заколоченная дача, куда через некоторое время вселялись новые жильцы.

Иногда ими оказывались те, кто “убрал” предыдущих хозяев. Одним из таких “новоселов” был Вышинский, чей дом почему-то до сих пор служит для николюгорцев ориентиром, когда они хотят объяснить что где расположено. Если детям репрессированных родителей иногда “везло”, и вместо того, чтобы отправиться в детдом, они оставались у кого-то из близких, то у них появлялась возможность через щелочку в заборе наблюдать за чужой жизнью на родной даче. О таких случаях тоже вспоминали на юбилейных торжествах.

“Россия - сфинкс”: люди исчезали, но жизнь продолжалась. Все не переводились бессребренники-врачи и энтузиасты-педагоги. Продолжал существовать так называемый “Домик Песталоцци”, где с детьми занимались рисованием, лепкой, ритмикой, иностранными языками. На отлично оборудованной спортплощадке шли соревнования и игры. Ставились детские спектакли, да такие, что о них до сих пор говорят. Приобретенный правлением автобус был также использован для проведения экскурсий. Ведали ими А.М.Шебалина и М.А.Яковлева. Каждый четверг с Николиной Горы отправлялся автобус, по дороге ребятам рассказывали о том, что они увидят. На обратном пути все делились впечатлениями. Таким образом, изучили весь Звенигородский район и более далекие места: родину Чайковского Клин, старые русские города Александров, Углич, Ростов Великий. В четверг вечером уже был известен план следующей экскурсии, к ней готовились. Часто взрослые просили взять их с собой. Обо всем этом неторопливо и внятно рассказывала старая николюгорка, вдова композитора Шебалина 94-летняя Алиса Максимовна.

“Надо сохранить этот оазис”, - призывают друг друга старожилы. Да и как не сохранить то, что не смогли уничтожить ни война, подошедшая в ноябре 41-го почти вплотную, ни репрессии. Но ... “есть металл сильнее металла, есть огонь страшней огня”. Несмотря на все призывы и усилия отдельных людей, здешний “климат” стремительно меняется. Да, Н.Г. еще сохраняет свой необыкновенный колорит. Природа, хоть и поруганная и сильно оскудевшая, все еще прекрасна. По-прежнему проводятся традиционные бесплатные концерты и выставки. Еще не вымерли детские группы. Мне показали 86-

летнюю седую, но весьма бодрую женщину, которая вот уже 30 лет ведет волейбольный кружок с никологорскими ребятами. Как всегда в конце летнего сезона на огромной никологорской поляне, где сосредоточена вся общественная и культурная жизнь, проводятся спортивные состязания, выставка детского рисунка, выступление танцевального кружка, который в этом году вела милая молодая местная жительница. И тем не менее неповторимая аура постепенно исчезает. Это проявляется во всем: в том, как бедная Наталья Васильевна Фельд - "организатор и вдохновитель" здешней культурной жизни собирает на очередной концерт публику, часами висит на телефоне (А ведь прежде вечеров с нетерпением ждали и на веранду стекалась вся Н.Г.); и в том как неохотно соглашаются выступить "звезды", ссылаясь на плотный график и безнадежно расстроенный инструмент; и в том как хиреет библиотека, в которую когда-то с радостью жертвовали книги и журналы жители РАНИСА (к сожалению, большая часть их сгорела во время пожара); в том, что сегодня педагогов, желающих заниматься с детьми - раз, два и обчелся, а когда-то их было множество. Нет, культурная жизнь не бьет ключом. Слава Богу, что хотя бы теплится. Причины понятны.

Мир стал более открытым, доступным, динамичным, жестким. Люди живут в бегах, в разъездах. Их жизненный фон - вечно светящийся теле и видео экран, никогда не выключаемое радио, орущий магнитофон. Какая уж там культурная жизнь! Все объяснимо, но прочитав в газете сообщение об очередном музыкальном фестивале, проводимом Святославом Рихтером в живописной французской деревушке, нельзя не испытать досаду. Неужели ТАМ живописнее, чем ЗДЕСЬ? Вопрос, конечно, риторический. Но трудно смириться с тем, что в этой части суши все уникальное всегда обречено. И никологорский оазис тоже. И не только по вышеназванным причинам. Есть и другие. Бурное строительство, например. Этот вполне мирный процесс носит в России не столько созидательный, сколько разрушительный характер.

Бурное строительство в нашем варианте это варварское и беспорядочное вырубание живых деревьев в окрестных лесах, это растущие как грибы свалки, это искореженные бульдозерами лесные тропы, это прущие по аллеям поселка грузовые мастодонты, оставляющие после себя черный шлейф гари, раненые стволы сосен, раздавленные кусты малины. Бурное строительство - это неразумное высушивание болот, из-за которого портится лес и мелеет река; это стихийное бедствие, способное до неузнаваемости изменить облик поселка, в котором рядом с замечательно вписавшимися в здешний ландшафт дачами начали появляться каменные монстры - самодовольные замки с бойницами, эдакие "великие стройки капитализма". Кого я ни спрашивала, никто в точности не знал, кому они принадлежат: одни пожимали плечами, другие пытались произнести замысловатое наименование какого-то банка. Во всяком случае, есть все основания предполагать, что новые жильцы будут так же разительно отличаться от прежних, как их помпезные гробницы от простого человеческого жилья.

Что, разве РАНИС не является больше объединением работников науки и искусства? Я не член кооператива и ничего не смыслю в сложной механике, связанной с куплей-продажей земли, налогами и всем прочим, и не мне упрекать никологорцев, подчас не имеющих денег на починку забора, в том, что они продают землю на сторону. Но трудно спокойно взирать на то, как на глазах исчезает никологорский заповедник. Невольно вспоминаю, как, гуляя по холмистым окрестностям Осло, удивлялась гармонии, царящей вокруг. Нарядные домики, расположенные по лесистым склонам, не только не портили вида, но казались частью пейзажа. Создавалось впечатление, что Господь Бог сотворил их вместе с лесами, озерами, холмами. Даже в страшном сне невозможно себе представить, что в том раю могло происходить то, что происходит в нашем. Ну почему мы всегда идем по жизни пьяной походкой: то круто влево, то круто вправо?

Прежде для того, чтобы сделать маленькую пристройку к собственной даче, приходилось долго обивать пороги, испрашивая разрешения у многочисленных

чиновников. А теперь делай, что хочешь: хоть котлован копай, хоть небоскреб возводи. В сталинские времена на поселок “наехал” правительственный санаторий, оттяпав большую часть земли, в брежневские - “слуги народа”, вырубая остатки леса, вздумали строить свои коттеджи (которые, кстати, кажутся шедевром архитектуры по сравнению с владениями нуворишей). Сегодня - новая напасть. И снова полная беспомощность. “Ни пяди своей земли врагу не отдадим”, - так, кажется, звучал знаменитый лозунг военных времен. И зачем отдавать? Нет у нашей земли врага страшнее, чем мы сами. Когда-то на вопрос своего сына “Где бы ты хотел жить, если бы смог выбирать из всех лучших городов и курортов мира” В.И.Качалов, не задумываясь, ответил: “Конечно, на Николиной Горе”. С грустью думаю о том, что, если не сегодня, то завтра он бы уже так не ответил.

1995 год.

\* \* \*

На Николиной Горе да на Николкиной,  
Все покрыто прошлогодними иголками,  
И укрытые иголочками хвойными  
Стали тихими дорожки и спокойными.  
Ах, Николина Гора, мое убежище,  
Коли нету здесь укрытия, то где ж еще?  
Хоть и хлипкок мой домишко — дыры, щелочки, —  
Но зато на крыше шишки да иголочки,  
А под окнами — дорожка муравьиная,  
А поодаль льется песня соловьиная,  
А подалее, за дорогой на Звенигород  
День сверкающий горит, никак не выгорит.

\* \* \*

*Памяти Николая Виссарионовича Шебалина*

Умирал, как дело делал,  
умирал.  
Догорал душой и телом,  
догорал.  
Впрочем, нет – душа светилась  
и жила,  
В теле немощном ютилась,  
два крыла  
Распустить готовясь вскоре  
на свету,  
На немислимом просторе  
на лету.

июль 1996 г.

\* \* \*

*На смерть Максима Шебалина*

I

Отчалила Харона лодка...  
Незрима та перегородка,  
Что разделяет ЗДЕСЬ и ТАМ,  
И тени бродят по пятам  
За нами преданно и кротко.  
Отгородившись тишиной  
И полупризрачной стеной  
От нашей суеты всегдашней,  
Они близки, как день вчерашний,  
И далеки, как мир иной.  
... И слез обильных не унять,  
Не удержать и не обнять  
Того, кто стал бесплотной тенью.  
"Смиренью," – говорят, – "смиренью  
Учись, коль некому пенять."

II

И снова в этом мире Божьем  
Вполне прозрачным днем погожим  
Творится невозможный бред,  
И нету сил дышать, и нет  
Опоры. Лишь мороз по коже.

Опять творится бред. Опять  
В оцепенении стоять  
Над свежевырытой могилой,  
Взывая: "Господи, помилуй"  
К тому, кто вздумал все отнять.

*октябрь 1996 г.*

**СТИХИ, ПРОЧИТАННЫЕ НА ОТКРЫТИИ МЕМОРИАЛА  
“НИКОЛОГОРЦАМ - ЖЕРТВАМ ТИРАНИИ”,  
18/08/1996**

\* \* \*

И в черные годы блестели снега,  
И в черные годы пестрели луга,  
И птицы весенние пели,  
И вешние страсти кипели.  
Когда под конвоем невинных вели,  
Деревья вишневые нежно цвели,  
Качались озерные воды  
В те черные, черные годы.

\* \* \*

Мелким шрифтом в восемь строк  
Про арест на долгий срок,  
Про ежовщину и пытки,  
Про побега две попытки,  
Про поимку и битье,  
Про дальнейшее житье  
С позвоночником отбитым –  
Сухо, коротко, петитом.

\* \* \*

То облава, то потрава.  
Выжил только третий справа.  
Фотография стара.  
А на ней юнцов орава.  
Довоенная пора.  
Что ни имя, что ни дата –  
Тень войны и каземата,  
Каземата и войны.  
Время тяжко виновато,  
Что карало без вины,  
Приговаривая к нетям.  
Хорошо быть справа третьим,  
Пережившим этот бред.  
Но и он так смят столетьем,  
Что живого места нет.

\* \* \*

Так пахнет лесом и травой,  
Травой и лесом...  
Что делать с пеплом и золой,  
С их легким весом?

Что делать с памятью живой  
О тех, кто в нетях?  
Так пахнет скошенной травой  
Июньский ветер...  
Так много неба и земли,  
Земли и неба...  
За белой церковью вдали  
Бориса – Глеба...  
Дни догорают, не спеша,  
Как выйдут сроки...  
Твердит по памяти душа  
Все эти строки.

### III. ВЕЩЕСТВО ЖИЗНИ

*Господи, не дай мне жить, взирая вчуже,  
Как чужие листья чуждым ветром кружит;  
Господи, оставь мне весны мои, зимы  
- Всё, что мною с детства познано и зримо;  
- Зори и закаты, звуки те, что слышу;  
Не влечи меня ты под чужую крышу;  
Не лиши возможности из родимых окон  
Наблюдать за облаком на небе далеком.*

### КОМПРОМИСС МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

*Перед вами ответ поэта Ларисы Миллер на опубликованную в Известиях 8 сентября этого года в рубрике “Вся Америка” статью “Компромисс между идеалами и реальностью?” знаменитой Джойс Кэрол Оутс, автора известных во всем мире романа Ангел света и множества рассказов. В двух словах, статья в “Известиях” - попытка сопоставить процессы демократизации в СССР и США. Передавая свое письмо нам, Лариса сказала:*

*- Мегалполис-Экспресс - международная газета, я надеюсь, через нее мой ответ дойдет до адресата быстрее...*

Дорогая Джойс Кэрол Оутс!

Прочитала Вашу статью в газете Известия от 8 сентября 1990 года и почувствовала, что не могу на нее не ответить. Но прежде представляюсь. Я родилась перед самой войной, москвичка, член Союза писателей, пишу стихи.

Теперь о главном. Вы пишете: “...многие американцы, включая и меня, с иронией отмечают, что Советский Союз начал экспериментировать с демократизацией своей системы правления как раз в то время, когда наша “демократия” становится более консервативной - особенно в отношении цензуры и агитации противников аборт.” “Экспериментировать с демократизацией” - те ли это слова, когда речь идет о судорожных, порой трагических попытках целого народа выбраться из пропасти, в которой он оказался 73 года назад? Попытка сблизить проблемы нашей истерзанной страны с проблемами вашей, где демократия, как Вы заметили, “становится более консервативной”, вызывает протест. Нам еще только (дай Бог) предстоит узнать, что такое демократия и ее проблемы.

Прошрое нашей страны с 17-го года - это ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ И ПЛАНОМЕРНАЯ ВОЙНА ГОСУДАРСТВА С СОБСТВЕННЫМ НАРОДОМ. Сейчас спорят о том, 40 или 70

миллионов погибло. Речь идет не о погибших на фронтах второй мировой войны, а о жертвах террора, искусственно созданного голода, насильственного переселения народов.

Вот только один штрих. 30-е годы. Принудительная коллективизация, особенно трудно проходящая на Украине, которую за это наказали голодом. Целые регионы были оцеплены войсками, охранявшими элеваторы, полные зерна. Умерло несколько миллионов человек (снова миллионы!). Люди пробирались в соседние области, чтобы добыть хоть какое-то пропитание для умирающих детей. Возвращались на крышах поездов. Так вот, были сформированы специальные отряды, вооруженные крюками, ими зацепляли людей и сбрасывали их на землю с проносящихся мимо поездов. Трупы, лежащие вдоль железнодорожных путей, стали частью пейзажа. Это было 60 лет назад, но безумие тоталитаризма, который сейчас называют командно-административной системой, продолжается до сих пор.

Цитирую: “Ваши соотечественники отважились на смелый и благородный эксперимент под руководством Михаила Горбачева, бесспорно, одного из наиболее блестящих мировых лидеров нашего века.” Вашему оптимизму можно позавидовать. Сразу видно, что Вы живете за тысячи километров от этих экспериментов. Наше сегодня - это драка из-за буханки хлеба. На моих глазах в очереди за сахаром доведенные до отчаяния люди свалили кассу и избили кассира.

Еще цитата: “И потому сам факт, что где-то в мире люди по своей собственной воле хотят превзойти худшие из американских ценностей: современную еду, поп-культуру, эфемерную моду - или очень грустно, или очень смешно, - зависит от человека.” Да, в Москве появился “Макдональдс” с огромной (не виданной Вами очередью). У нас проводятся конкурсы красоты, свирепствуют рок-группы. Но не этим определяется жизнь. Наша повседневность - это отсутствие самого необходимого: продуктов, лекарств, школьных тетрадей, детских колготок. Абсолютно пустые полки магазинов. Уверена, Вы никогда в жизни не видели такого. Бог с ними, с поп-культурой и модой. Поверьте, людям здесь не до них. Газету Известия, в которой напечатана Ваша статья, читает вся страна, и Ваше замечание о “современной еде”, как худшей из “американских ценностей”, увы, кажется кощунством, как и замечание о “провале капитализма”. К кому Вы обращаетесь? Не к той ли пожилой женщине из московского поселка, которая рассказывала, как искала пенициллин для своего полторагодовалого внука (он обварился кипятком и с тяжелыми ожогами лежал в больнице). “Всю Москву объездила. В ногах валялась”, - плача говорила она. Лекарств нет не только в аптеках, но и в больницах.

Или, может быть, Вы обращаетесь к жителям зараженных радиацией областей Белоруссии, которые вот уже четыре с половиной года ждут переселения в безопасные районы, а им вместо этого ежемесячно платят 15 рублей “гробовых”, как у нас говорят. Наше сегодня - это грудные дети, зараженные СПИДом в больнице города Элиста. Нет одноразовых шприцев - об этом тоже пишут третий год. А случаи заражения повторились еще в нескольких больницах.

Вот истинное лицо перестройки, которую Вы назвали “смелым и благородным экспериментом”. Нет, здесь скорее уместны слова “театр абсурда”.

Весна 1988 года, сумгаитский погром (Азербайджан). Его нечеловеческие жестокости не уместаются в сознании. Но не был объявлен траур, а расследование этих ужасных убийств Москва спустила на тормозах. Результат попустительства - новые вспышки насилия, десятки тысяч беженцев, людей, выброшенных из жизни, потерявших близких, дом, работу. И для помощи им опять же НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТСЯ. Налицо сознательное, глубоко аморальное бездействие власти. Отсюда чувство полной незащищенности.

Да, гласность. Да, можно говорить и писать о чем угодно (почти). Но и случиться может все что угодно. Я видела их совсем близко - веселых и жестоких мальчиков из общества “Память”, которые устроили антисемитский дебош на собрании прогрессивной писательской ассоциации “Апрель” в январе этого года, слышала их

угрозы: “В следующий раз мы придем с автоматом”. Главное, что потрясает, - их уверенность в своей полной безнаказанности. И боюсь, что они не ошибаются... Под нажимом общественности было возбуждено уголовное дело против их лидера. Сейчас в Москве проходит суд, но непонятно, кто кого судит: зал битком набит “мальчиками”, которые выкрикивают угрозы в адрес евреев, оскорбляют свидетелей, аплодируя каждому слову своего вожака, превратившего скамью подсудимых в трибуну. И какая-то почти иррациональная неспособность (нежелание?) органов власти справиться с ситуацией. Повторяю: то, что происходит в стране, иначе, как “театром абсурда”, не назовешь. Ваши проблемы - проблемы ЖИЗНИ, наши - ВЫЖИВАНИЯ. Вы живете в обществе ПОТРЕБЛЕНИЯ, мы - в обществе ИСТРЕБЛЕНИЯ. “Какой же путь лучше?” - спрашиваете Вы в конце своей статьи. Задайте этот вопрос тысячам отчаявшихся людей в очереди у американского посольства в Москве. Мы с Вами с разных планет, что очень грустно, так как планета у нас все же одна. С уважением, Лариса Миллер.

*Мегаполис-Экспресс, 4.10.1990*

\* \* \*

Спасибо тебе, государство.  
Спасибо тебе, благодарствуй  
За то, что не всех погубило,  
Не всякую плоть изрубило,  
Растлило не каждую душу,  
Не всю испоганило сушу,  
Не все взбаламутило воды,  
Не все твои дети - уроды,

1990

\* \* \*

Сок со льдом, бананы, пицца,...  
Угадали - заграница.  
Вот витрина, вот реклама,  
Вот портал большого храма,  
Вот приветливый прохожий,  
Вот водитель темнокожий,  
Вот раскованные дети...  
Все О'кей на ихнем свете:  
Есть порядок, есть валюта.  
А на нашем - есть Малюта,  
Да чума, да череп - кости...  
Приглашайте русских в гости,  
Чтобы лопали бананы  
И зализывали раны.

1990

\* \* \*

Оживление в больничке,  
Поутру запели птички,  
Принесли благую весть  
К нам в палату номер шесть.  
Весть о том, что скоро лето.  
Скоро станет больше света,  
Больше радости для глаз  
Даже в Кащенко у нас.  
Даже в нашем заведенье  
Станет радостнее бденье  
И еще бессвязней бред  
Тех, кто солнышком согрет.

1994

\* \* \*

Не чувствую больше ни пыла, ни жара,  
Отправиться что ли на Килиманджаро,  
Да больно далёко, не хватит денег,  
Ведь каждый из нас матерьяльно зажат.  
Ну что же поделать? Останемся в зоне,  
Где вместо тюльпанов - дерьмо на газоне  
И много других неприятных вещей.  
Посмотрим рекламу про мазь от прыщей,  
А если не хочется видеть рекламу,  
Посмотрим, как роют за окнами яму  
Проходим, проезжим, другим и себе,  
И неподалеку лежащей трубе.

1995

\* \* \*

Надоели хмарь и хаос,  
Бред, творящийся без пауз,  
Оказаться бы на стрит,  
Что витринами пестрит,

Где ни путчей и ни драки,  
Ни блуждания во мраке,  
Где лужайка и газон  
И в поступках есть резон.

Матерясь, ломая ноги,  
По нечищенной дороге,  
По заснеженным путям  
Все идем ко всем чертям.

1994

\* \* \*

Такие творятся на свете дела,  
Что я бы сбежала в чем мать родила.  
Но как убегу, если кроме Содома  
Нигде ни имею ни близких, ни дома.  
В Содоме живу и не прячу лица.  
А нынче приветила я беглеца.  
“Откуда ты родом, скажи Бога ради?”,  
Но сомкнуты губы и ужас во взгляде

1981

## **ВЕЩЕСТВО ЖИЗНИ**

Дым отечества черен и сладок...  
*Бахыт Кенжеев*

Открытие мира (оно началось в конце 80-х) привело меня вот к какому заключению: к сожалению, существует лишь одна точка на земле, где могу жить. “К сожалению” - потому, что точка эта отнюдь не самое благополучное место на свете. Будучи “по крови домашним сверчком” (Арсений Тарковский), я никогда не собиралась навсегда покидать Россию, но мне было жаль расставаться с иллюзией огромного мира и неограниченных в нем возможностей. А расставаться пришлось. И не только из-за того, что возможностей оказалось не так уж много, но и потому, что вряд ли мне бы хотелось ими воспользоваться. Я уже дважды писала об этом, но каждый раз чувствовала, что хожу вокруг да около (beat about the bush, как говорят англичане), а главное сказать не умею. И вдруг совсем недавно на ум пришли слова: ВЕЩЕСТВО ЖИЗНИ. Они и заставили меня вернуться к теме. Вещество жизни - вот что перестаю ощущать на Западе; душа немеет, подобно затекшей конечности, и обретает чувствительность только по возвращении домой. Почему так получается, сказать трудно. Может быть, причина в непривычном, особенно в Штатах, “запрограммированном”, в чем-то формальном стиле общения - закрытом при внешней открытости. Как если бы, беря человека за руку, каждый раз обнаруживала замшу или шелк перчатки. (Таков эффект знаменитого, непереводаемого на русский западного “прайвеси”). Может быть, “виновата” цивилизация, западный антураж - глянцевого, с иголки. Или излишняя (как я это ощущаю) целесообразность, упорядоченность, разумность существования, когда начинает казаться, что где-то за пультом сидит аккуратный диспетчер в нарукавниках и управляет процессом. Но главная моя задача - не определить, что ТАМ, а понять, в чем притягательность ЭТОЙ части суши, ее, несмотря ни на что, неповторимое обаяние. Для меня оно, видимо, в том, что ТОЛЬКО ЗДЕСЬ физически ощущаю ток жизни, токи ее, нерв и трепет. ТОЛЬКО ЗДЕСЬ чувствую, как она вспыхивает, захлебывается от полноты, выбивается из сил, разрушается, гаснет. И чудится, будто в этой точке планеты расположена творческая лаборатория самого Господа Бога, его сырьевая база, карьер, из которого он черпает все необходимое для сотворения мира. “Сотворение мира” - звучит красиво, а на деле это жесткий и жестокий процесс, осуществляемый методом проб и ошибок. Неудачное отбрасывается. И эти отбросы, отходы производства, полуфабрикаты, недооволоженные Божьи замыслы - они тоже копят здесь, превращая Россию не только в Божью кузницу, но и в свалку, с ее откровенными и бесстыдными подробностями. Непременные атрибуты здешней жизни - запустение, сиротство, медвежьи углы, “газ выхлопной, беспризорная кошка в ограде

церкви, червивая груша, бутылочный звон о холодеющий камень” (Бахыт Кенжеев). Сколько раз, находясь на Западе, туго затянутом в корсет цивилизации, вспоминала зону из “Сталкера” - непредсказуемую землю, сохранившую живые следы былых катаклизмов и существующую по своим едва уловимым законам. Такова Россия. Слушая ее неровное дыхание, никогда не знаешь, чего ждать: ветер ли поднимется, дождь ли хлынет, земля ли уйдет из-под ног. И душа аборигена - тоже зона, где возможно все - и высоты, и провалы. “В русской природе, в русских домах, в русских людях я часто чувствовал жуткость, таинственность, чего я не чувствую в Западной Европе, где элементарные духи скованы и прикрыты цивилизацией”, - пишет Бердяев в “Самопознании”. А несколькими строками раньше, сетуя на отсутствие у западного человека “свежести души”, говорит: “Западные культурные люди рассматривают каждую проблему прежде всего в ее отражениях в культуре и истории, то есть уже во вторичном. В поставленной проблеме не трепещет жизнь, нет творческого огня в отношении к ней”. Речь идет о 20-х годах. Семьдесят лет прошло с тех пор. Семьдесят катастрофических лет, в течение которых постоянно шла кровавая и бескровная селекция, подвергавшая выбраковке именно тех, в ком “трепетала жизнь” и горел “творческий огонь”. Но и в нынешней сильно оскудевшей России этот дух еще жив. Сколько я встретила за свою жизнь, особенно в детстве и ранней юности, страстно увлеченных людей! Подчеркиваю - “страстно”. Именно этого качества не хватало Бердяеву в западном человеке.

На Западе существует понятие “стиль жизни” (life style), когда ищущий человек примеряет на себя тот или иной способ существования, ту или иную веру или систему взглядов. Одни находят себе гуру, другие - бегут от цивилизации к природе, третьи - и вовсе бродяжничают, не желая подчиниться установленному ходу вещей. Казалось бы, родные мятежные души. Уж где-где, а в России всегда были калики перехожие, чудачки, правдоискатели. Но разница есть, и она огромна. ЗДЕШНИЙ поиск происходит от НИЩЕТЫ ДУХА, ТАМОШНИЙ - от желания найти в благополучном и практическом мире хоть какую-то пищу для души. ЗДЕШНИЙ человек обладает врожденным чувством бездны, потребностью, усомнившись, заглянуть за край бытия, приподнять небесный полог. Ему душно среди людей, привыкших “не заглядывать правде в лицо” (Бахыт Кенжеев). То и дело цитирую этого замечательного поэта, с невероятной остротой чувствующего неслиянность, несхожесть двух миров: России и Запада.

Европейцу в десятом колене  
Недоступна бездомная высь  
Городов, где о прошлом жалели  
В ту минуту, когда родились.

Западный житель, каким бы бешеным ни был темп его жизни, сохраняет неомраченное чело и уверенную походку человека, не знающего окрика: “Куда прешь!”, а тем более не имеющего ни в опыте своем, ни в генетической памяти смертельного страха отстать от строя или выбиться из него, когда “шаг влево, шаг вправо...” и т.д. Господь Бог дал России поистине исчерпывающие знания о “мрачных пропастях земли”. Сказала и вполне по-русски испугалась - беды бы не накликают: а вдруг и в этой области нам еще не все открылось. “Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам”.

Прекрасно сознаю, насколько уязвимо все вышесказанное и как легко мне возразить. Я и сама могу это сделать. Хотя бы по поводу руки в перчатке. В перчатке или без, но руку немощному скорее подадут ТАМ. А ЗДЕСЬ привычнее кулак в спину или локоть в бок. К тому же, пользуясь оборотом одного из друзей Винни-пуха, “ТАМ бывают разные”, и вряд ли разумно говорить про все западные страны чохом. Да и “ЗДЕСЬ бывают разные”: Россия времен Бердяева и сегодняшняя Россия - не о

дно и то же. И уместны ли слова “таинственность, трепетность, свежесть” в применении к последней. Вымороченность - вот подходящее определение.

Город лежит в руинах, выцветший звездный полог  
Молча над ним сдвигает бережный археолог.  
Стены его и рамы - только пустые тени,  
Дыры, провалы, ямы в пятнах сухих растений.

То, что дорогой длинной в сердце не отшумело,  
Стало могильной глиной, свалкою онемелой.  
В городе визг шакала, свист неумной птицы.  
Весть твоя опоздала. Некому ей дивится.

*Бахыт Кенжеев*

Все так. Но руины, дыры, провалы, ямы и даже могильная глина - это ведь тоже жизнь. Только страждущая и больная. Здесь трудно жить, как трудно долго находиться в комнате тяжелобольного. Но, Бог ты мой, сколько в этом больном было когда-то обаяния, ума, таланта. Да и сейчас нет-нет да и проглянет прежний облик. И в нынешней России все еще присутствует то, что не отпускало Бердяева, Бунина, Георгия Иванова, Набокова, заставляя вслух или про себя твердить: “Отвяжись, я тебя умоляю”.

Не надо пытаться меня опровергать. Даже если камня на камне не оставить от моих рассуждений, среди обломков все равно уцелеет маленькое зернышко истины: если привык держать жизнь за руку, чувствуя ее жар и холод, живи ЗДЕСЬ. ТАМ она не снимает перчаток.

1993

\* \* \*

Почему не уходишь, когда отпускают на волю?  
Почему не летишь, коли отперты все ворота?  
Почему не идешь по холмам и по чистому полю,  
И с горы, что полого, и на гору, ту, что крута?  
Почему не летишь? Пахнет ветром и мятой свобода.  
Позолочен лучами небесного купола край.  
Время воли пришло, время вольности, время исхода.  
И любую тропу из лежащих у ног выбирай.  
Отчего же ты медлишь, дверною щеколдой играя,  
Отчего же ты гладишь постылый настенный узор,  
И совсем не глядишь на сиянье небесного края,  
На привольные дали, на цепи неведомых гор?

1972

\* \* \*

Откуда знать, важны ли нам  
Для жизни и для равновесья  
Родные стены по утрам,  
Родные звуки в поднебесье,  
Родная сень над головой.  
А, может, под любую сенью  
Быть можно и самим собой,  
И чьей-нибудь безвольной тенью.  
А, может, близ родной души  
Любые веси - дом родимый.  
Но, чтоб ответить - сокруши  
Очаг, столь бережно хранимый,  
Свой прежний дом покинь совсем,  
Сойди с дороги, той, что вьется,  
Стерпи, что завтра будет нем  
Тот, кто сегодня отзовется,  
И перейди в предел иной  
С иным укладом и разором,  
Где чуждо все, что за спиной,  
И чуждо все, что перед взором.

1973

\* \* \*

## **СОН**

Вне уз, вне пределов, вне времени, вне  
Привычного. Чуждые тени в окне.  
Чужие шаги в переулке горбатым,  
В порту, на молу, освещенном закатом,  
Невидящий взгляд незнакомых очей,  
Неведомый смысл гортанных речей,  
Чужое веселье, чужое молчанье  
И вот густо-черных немое качанье,  
И чуждые запахи тины и йода...  
Свобода - с тоской повторяю - свобода.

1974

## **ФЕРМАТА**

Листая незадолго до поездки русско-итальянский разговорник, я наткнулась на слово, знакомое мне со времен музыкальной школы - "фермата". "Dove'è la fermata dell'autobus numero tre?" "Где остановка автобуса N 37" - гласил перевод. Невероятно! Я ехала в страну, где слово "фермата" переводится как "остановка", где даже проза жизни музыкальна. Ступив на итальянскую землю, я, дабы удостовериться, что попала действительно туда, стала искать глазами вывеску "Фермата", но не нашла. Кругом была вода. Много воды. На воде покачивались лодки. Будь я англоязычной туристкой, я бы непременно воскликнула "фэнтэстик!". А если еще при этом пострекотать

фотоаппаратом и пожужжать видеокамерой, то достопримечательность в кармане. А иначе как быть со всеми этими улочками, каналами, мостами, домами, площадями? Как быть с Венецией? Она-то сама отлично знает, как быть с нами, зеваками, куда вести, что показывать, чем занять, как заморочить, чтобы, сделав вид, будто она вся - как на ладони, незаметно ускользнуть, улетучиться, уйти под воду, скрыться в тумане, рассеяться в воздухе. Нет, не на этих путях происходят встречи, но других мне не отыскать: слишком краток визит. И я подчиняюсь. Иду стандартным маршрутом на площадь Святого Марка, где полным-полно голубей и туристов, где под каждой аркой играют музыканты, вздыхаю на Мосту Вздохов, катаюсь на гондоле, дивясь тому, как высокий стройный светловолосый итальянец виртуозно работает веслом, в нужный момент грациозно отталкиваясь ногой от стены дома. А навстречу другая гондола, в ней певец с аккордеоном. Значит туристы побогаче заказали музыку. "Santa Lucia, Santa Lucia" несется над темной водой. После получасовой прогулки по вечерним каналам снова суша, узкие улочки, яркие витрины, где помимо всякой сверкающей всячины продаются резиновые сапоги любого размера и фасона. Еще бы! Венеция - это частые туманы, сырость, дожди, наводнение. Сегодня солнце, но за два дня до нашего приезда по площади Святого Марка можно было передвигаться только в высоких сапогах. "Из Венеции жители бегут, - сказала мне экскурсовод Паола, - сыро, нижние этажи то и дело заливают. Всюду плесень, со стен сходит штукатурка, а на ремонт не хватает денег". Когда я повторила эти слова экспансивной Лизе - нашему гиду во Флоренции, та возмутилась: "Кто Вам сказал! Ах, Паола? Пусть не говорит чепухи. Никто из Венеции не бежит. Там все богатые. У них столько туристов и такой доход, что им никакая сырость не страшна". Говоря это, Лиза подвела нас к Баптистерию Святого Иоанна Крестителя, вернее, к знаменитым Вратам Рая. Где же им еще быть, как не во Флоренции, городе, само имя которого значит "цветущая" - Fiorenza. Здесь и Кафедральный Собор называется Санта Мария дель Фьоре (Святая Мария с цветком). Флоренция окружена холмами, на которых растут виноградники и пинии. Те самые, которые изображены на Вратах Рая и которые я столько раз видела на полотнах великих мастеров, полагая, что это - не имеющие названия условные деревья. Оказывается, они существуют, их полным-полно на тосканских холмах, куда меня собирается повести моя добрая знакомая ленинградка Галя, уже три года живущая во Флоренции. Она приехала сюда ухаживать за восьмидесятивосьмилетней полуслепой старушкой Ниной Харкевич. Написала "старушка" и запнулась. Не идет ей это слово. Слишком ясная у нее голова, слишком живой интерес к собеседнику. Она попросила меня почитать стихи, а в ответ подарила свой сборник, в котором кроме стихов - репродукции ее картин. Нина родилась во Флоренции в русской семье. Ее отец - воспитанник Петербургской духовной Академии, мать - дочь священника, по инициативе которого в конце прошлого столетия была построена во Флоренции церковь Рождества Христова. Нина долгие годы проработала врачом, но с детства увлекалась живописью и поэзией. Можно ли, родившись в Италии и проведя всю жизнь вне России, не только говорить на чистом русском языке, но и писать стихи по-русски? Оказывается можно.

Осень. Деревья  
Трепетно машут,  
Прощаясь,  
И плачут  
Золотистыми листьями  
Слез.  
Тихо ветер ласкает  
Все то,  
Что уходит,  
И шепчет: “Не плачьте,  
Вас ждет тишина  
И счастье забвенья.”

В книге почти совсем отсутствуют реалии итальянской, российской или какой-нибудь другой жизни. В ней только природа, память, тишина, печаль.

Душа моя таинственно молчит,  
Как зимней ночью лес глухой  
В дремоте замирает...

“Потаскать тебя по холмам Тосканы?” - смеется Галя. Она помогает спуститься Нине, усаживает ее в машину, и мы едем по утопающим в зелени улицам мимо храмов и парков, выезжаем за черту города и поднимаемся все выше и выше. Закатное солнце просвечивает сквозь ветки пиний. Влево и вправо убегают тропинки, по которым идти бы да идти. Но, увы, еще день, два и - чао, Фьоренца. “Где-то здесь я в молодости лезла по крутому склону напрямик, без всякой дороги”, - говорит Нина, испытывая видимое волнение от того, что оказалась в любимых и редко навещаемых местах. По пути мы делаем две остановки. Фермата прима - у родника, из которого пьем чистую целебную воду. Фермата секунда - возле маленькой церкви, где, на мой взгляд, гораздо больше горнего, чем в роскошных и помпезных храмах. Вечером мы с Галей идем в гости. Хозяйка дома - художница, гречанка давно живет в Италии. У нее две юные дочери - тоненькие с точеными лицами. Обе учатся музыке: одна играет на скрипке, другая на флейте. Галя предупредила меня, что хозяйка дома придерживается левых убеждений. Беседуя со мной, она выражает надежду, что, если в России победят коммунисты, то наконец-то кончится хаос и воцарится порядок. Я не спорю. Не хватало еще, приехав в Италию, говорить о российской политике. Собираются гости. Пришло семейство: муж, жена, малолетняя дочь и сын-даун. Он казался подростком, но выяснилось, что ему двадцать два года. Подойдя ко мне, он представился: “Горький”. Заметив мой недоуменный взгляд, Галя тихонько объяснила, что поскольку здесь все левые, пролетарский писатель Горький, в честь которого назвали парня, - их кумир. На прощанье мне устроили экскурсию по квартире. Дому, где живет гречанка, почти два века. Просторные комнаты с лепными потолками, изразцовыми каменными полами, массивными стенами и арками вместо дверей больше походили на залы дворца. А на древних стенах - фото работников Коминтерна, открытки с изображением красного знамени с Лениным-Сталиным в профиль. На столе - музыкальный ящик, исполняющий “Интернационал”. И все это - в волшебном городе, на тихой улице, в старинном доме, в квартире, где живет утонченная, артистичная, красивая семья. Загадки странного мира. Non capisce. Не понимаю. Ночью мне приснился сон: горы, необъятное небо, освещенное мощными закатными лучами грандиозного, постепенно исчезающего солнечного диска. Все слишком большое, чересчур яркое. Я в страхе проснулась и почувствовала озноб, который бывает при перегреве. Италия - сплошная превосходная степень. Здесь все в избытке -

скульптура, картины, руины, храмы. В Венеции - избыток воды, в Сорренто - солнца, в музыке - мелоса, в разговоре - жеста, в речи - суперлатива. "Брависсимо!" - восклицает Лиза в ответ на какую-то мою реплику. "Кариссимо!" - обращается мать к ребенку. "Аква беллиссима!" - улыбается мне синьора, погружая свое необъятное смуглое тело в Неаполитанский залив.

Юг, Сорренто, залив. До чего мы долго туда ехали и как душно было в автобусе! Спасали только магнитофонные записи нашего весельчака водителя, нескончаемые итальянские песни, которые он ставил всю дорогу. "Скажите, девушки, подружке вашей, что я ночей не сплю, о ней мечтаю", - напевали мы по-русски. "Вернись в Сорренто-о-о, я жду тебя!" Нет, в Сорренто я вряд ли вернусь. И не только потому, что меня там никто не ждет, но и потому, что Сорренто - безумный город, в котором безостановочно движется гудящий, грохочущий транспорт. Юркнешь в узкий проход между рядами домов, надеясь спастись от шума, тебя тот-час же настигнет оглушительный треск мотоцикла или мотороллера, на котором мчится какое-нибудь юное создание. Мотоцикл - транспорт молодых. Они часто ездят четверо в ряд и весело общаются друг с другом, перекрикивая рев мотора. Но, несмотря на грохот и бешеную скорость, итальянский транспорт не агрессивен. Стоит пешеходу сойти с тротуара на мостовую, как рыкающие звери на колесах замедляют ход и терпеливо ждут. Первое время я не верила в их кротость и не решалась идти дальше. Но, приглядевшись, увидела, что из-под грозных мотоциклетных шлемов, выбиваются девичьи завитушки, что с мотороллера на меня смотрят веселые глаза, что темпераментный водитель открытого автомобиля делает красноречивый жест рукой: "Проходи, мол, да поживее. Престо, престо".

Сорренто - курорт, город роскошных отелей, окна которых смотрят все на те же надсадно ревушие, забытые транспортом улицы, город многочисленных кафе, посетители которых неспешно потребляют пиццу, попивают капуччино и оживленно беседуют в двух шагах от проносящихся мимо мотоциклов. Странная, странная дольче вита! После целого дня, проведенного в душном автобусе, везущем нас из Тосканы на юг, мы мечтали об одном: затащить вещи в гостиницу - и к морю, которое так призывно сверкает внизу под скалой. "Как прекрасно это море, как волнуется оно, в голубом его просторе много душ погребено". Но погребенной оказалась и наша мечта о близком счастье. В тот жаркий день нам не только не удалось окунуться, но даже приблизиться к морю. Оно оказалось запертым. Его запирают в шесть вечера и отпирают в восемь утра. И не море отпирают, а зажатый с трех сторон кусочек залива, где пляжем служит черный, видимо, вулканического происхождения песок и длинные каменные плиты, на которые, заплатив две-три тысячи лир, можно поставить лежаки и шезлонги. И так, в тот вечер море смеялось. Смеялось над нами, жадно глядящими на него сверху, со смотровой площадки. Ну, ничего. Завтра оно будет нашим. А сегодня нам остается бродить по городу, глазеть на богатые виллы, кипарисы, пальмы, магнолии и слушать - нет, не плеск волн, а грохот машин. Италия и впрямь страна превосходных степеней: бешеное движение, запредельный шум, неправдоподобное количество бродячих собак и кошек. Они греются на солнце, слоняются возле пиццерий и тратторий, лежат на ступеньках храмов. Но особой любовью у них пользуются античные руины. В Помпеях собак не меньше, чем туристов, а кошки вполне обжили Колизей и Форум. Когда видишь спящую на древних камнях кошку, следишь за тем, как она уютно потягивается и бесшумно перепрыгивает с одной нагретой солнцем плиты на другую, начинаешь верить, что ей столько же лет, сколько самим развалинам, что она знает о них все и хранит их тайну. Колизей, Форум - пишу я. Да полно, была ли я там? Видела ли все это? Входя в очередной собор или музей, я с беспокойством прислушиваюсь к себе: где благоговейный трепет? Почему его нет? Глядя на великие руины, уникальную роспись, мировые шедевры, я чувствовала себя тем индейцем из старого фильма "Маленький большой человек", который, обхватив руками свою бедную голову, безуспешно пытается понять слова и поступки загадочного белого брата. Все, что мне открылось, было слишком значительным и огромным, чтоб я могла это вместить:

Пантеон, Капитолий, Ватикан, бесчисленные соборы - Санта Мария Маджиоре, Сан Джованни, Сан Паоло, Сан Пьетри, Сан, Санта, Сантиссимо... В непостижимом мире огромных величин, который я должна была вобрать в себя за короткий срок, в безумном мире, живущем в темпе "presto", самым желанным и ласкающим ухо словом стало "фермата". "Фермата", - сказала я себе, когда, прогуливаясь по залам Капиталийского музея, набрела на белокаменную Венеру. Дальше идти было не к чему. Здесь была сосредоточена вся мировая гармония, весь покой. Слово "фермата" снова стало музыкальным термином, приказывающим мне, забыв об общепринятом темпе, длить паузу. Я села напротив и собралась сидеть вечно. Но не тут-то было. Сперва мою визави загородили японцы, потом американцы, потом возле нее долго шепталась молодая пара, потом набежали немецкие школьники. А она все стояла в своей непринужденной позе и улыбалась углами губ. Поняв, что я обречена общаться с ней только урывками, я ушла. Пожалуй, в Риме существует лишь одна достопримечательность, которую не в силах заслонить никакие толпы. Это фрески Микельанджело на своде Сикстинской Капеллы. Они высоко. Их можно рассматривать среди бурлящего моря людского. Что я и делала, пока не устала и не выплыла из храма на улицу в потоке туристов, немедленно попав в новый поток. В Риме всюду туристы. Одни сосредоточенно изучают карту и путеводитель, другие поспевают за цветным флажком своего гида. О, тама міа, что же будет твориться в 2000 году, в котором вечный город собирается с особой торжественностью отметить свой юбилей. К нему готовятся давно и серьезно. Многие закрыты на реставрацию. Закрыта знаменитая лестница на площадь Испании. Та самая, из фильма Римские каникулы, в котором незабвенная Одри Хэпберн на вопрос, какой город ей нравится больше других, восклицает: "Рим, конечно, Рим!" Этот возглас постоянно звучал у меня в ушах, когда я гуляла по городу. Пьяцца, палаццо, фонтаны, толпы молодежи жующей, снующей, поющей, целующейся, играющей на гитаре, молодежи в мини и макси, в шинели и дырявых джинсах, в пончо и шляпах, наголо бритой и с гребешком в фиолетовых волосах, с серьгой в ухе и с кольцом в носу... Чужая жизнь плещется вокруг, дразня и завораживая пестротой и дивной речью. В каждом итальянском городе, даже в самом шумном, существует праздничная аура. Улицы ярко освещены, фонтаны подсвечены, возле открытых кафе играют музыканты. И даже в стороне от центра на захудалой и грязной улице, на которой находилась наша убогая двухзвездочная гостиница, оказавшаяся по совместительству домом терпимости, шла совсем не мрачная, весьма бурная жизнь и встречались живописные вполне феллиниевские типы: прощелыги с напомаженными волосами, грудастые женщины в кричащем наряде с сигаретой в ядовито крашенных губах. А ночью меня разбудил топот ног и громкий стук в соседнюю дверь. Кого-то выпроваживали, кто-то возмущался, кто-то обещал привести полицию. Наверное, однажды во время подобной сцены из окна моего номера были выброшены дамские сапожки, которые я постоянно вижу на крыше соседнего флигеля. А через дорогу в доме напротив за широким окном находится что-то похожее на студию. Там стоит мольберт, на подоконнике - гипсовый бюст, на стенах - полотна. Кто-то ходит, жестикулирует, курит. А надо всем этим висит неправдоподобно большая и круглая луга. Это значит, сна не будет. Я не умею спать в полнолуние. А утром взойдет солнце и осветит аквамариновое небо, на котором вот уже вторую неделю - ни облачка. Вечное небо над вечным городом.

1995

## ЗАЧЕМ ВЫ МЕНЯ МУЧАЕТЕ?

Несколько месяцев назад мне позвонила из Цюриха некая дама, которая сообщила, что она родом из Харькова, много лет живет в Швейцарии, преподает русский язык и составляет для своих студентов антологию современной русской поэзии. Она разыскала меня, чтоб прочесть список моих стихов, которые собиралась включить в антологию. “Я бы выбрала больше, но студенты не любят грустных тем. Слова “боль”, “тоска”, “смерть” их пугают и расстраивают”, - виновато пояснила дама. “А меня пугают и расстраивают такие студенты”, - сказала я.

Через некоторое время мне пришло приглашение выступить на славистском факультете Ноттингемского университета. Готовясь к предстоящему событию и листая поэтические сборники, я невольно вспомнила свою швейцарскую собеседницу. А ведь и впрямь доминанта русской поэзии - глубокая печаль. “Впереди одна тревога, и тревога позади”, - писал Клычков много лет назад. Прошли десятилетия, а тревога осталась. “О мать Смерть, сними с меня усталость”, - читала я чичибабинские строки английским славистам и кожей чувствовала, что довольно с них тоски и надо срочно менять пластинку. Не потому, что они тупые или противные, а потому, что выросли в иной атмосфере, дышат иным воздухом. В прямом и переносном смысле. Там невозможно ТАК устать. Зато можно шутить. Там шутят все: преподаватели, продавцы, водители автобусов. Там любят юмор. Именно юмор, а не зубоскальство или ерничанье. При всей основательности и респектабельности существования там предпочитают не слишком серьезно относиться к себе и ко всему происходящему. “Take it easy“ («*Не волнуйтесь, относитесь спокойно*»), - говорят англичане. Мудрый совет, которому мы так и не научились следовать. То ли обстоятельства мешают, то ли мы сами порождаем эти вечно неблагоприятные обстоятельства.

Позвонив на днях в одно учреждение с каким-то пустяковым официальным вопросом, я вместо ответа услышала тяжелый вздох и скорбный женский голос: “Не понимаю, что вы хотите? Зачем вы меня мучаете?”

1996

\* \* \*

В этой области скорби и плача,  
Где эмблемою - череп и кол,  
Мы привыкли, что наша задача  
Наименьшее выбрать из зол.

Мы усвоили: только лишь крестный,  
Крестный путь и достоин и свят.  
В канцелярии нашей небесной  
Канцелярские крысы сидят.

Ты спроси их: “Нельзя ли без муки?  
Надоело, что вечно тоска.”  
Отмахнутся они от доуки,  
Станут пальцем крутить у виска.

1993

## ПОЛЗИ, СМИРНОВ, ПОЛЗИ

“Он такой скромный, даже не здоровается”, - сказала мне соседка про молодого человека, живущего этажом выше. Я засмеялась, думая, что она шутит, но, взглянув на нее, поняла, что она и не думает шутить. Какое-то время спустя мне пришлось наблюдать в метро такую сценку: в вагон вошел человек весьма преклонного возраста и стал озираться в поисках свободного места. И тут же все сидящие молодые люди как по команде закрыли глаза. Но среди “внезапно уснувших” оказался один, которые невольно заставил меня вспомнить слова моей соседки. Он тоже “дремал”, но при этом явно мучился, что было заметно по его пунцовым ушам, напряженной позе и подрагивающим неплотно прикрытым векам. Он, наверное, и рад был бы уступить место, да стеснялся. Скромность мешала. Та самая, которая не давала юноше из моего дома сказать соседям: “Здрасьте!”. Ведь что такое - уступить место? Это означает на мгновение “засветиться”, оказаться в центре внимания, привлечь к себе взгляды. Страх-то какой!

“Ползи, Смирнов, ползи”, - говорила малышу ясельная воспитательница из миниатюры Райкина. Столько лет прошло, а воспитательница наверняка все еще несет свою вахту, пся очередного Смирнова, привыкшего к ее окрикам и наставлениям. Да и только ли она! А родители, которые даже в воскресный день в лесу не знают роздыха! “Ну куда тебя несет?”, - кричит она своему чаду, - “ослеп что ли? Лужу не видишь?”. Все мы родом с той части суши, где принято наставлять, одергивать и призывать к порядку (которого, как известно, до сих пор нет). На нашей почве особенно хорошо произрастают самоуверенные хамы или вечно рефлексирющие закомплексованные бедолаги.

Когда на заре своей педагогической деятельности в начале 60-х я преподавала в английской спецшколе, к нам в гости приехал австралийский писатель со своим четырнадцатилетним сыном. Что это был за мальчик! Открытый, свободный, приветливый. Как он легко общался, весело смеялся! Так и вижу его сидящим в непринужденной позе на краешке учительского стола перед целым классом не улыбочивых и в рот воды набравших сверстников. А ведь готовились, вопросы учили...

1996

\* \* \*

Слишком много и крови и поту..  
Не пора ли свести к анекдоту  
Разговор о Российском житье?  
Чем растрчивать душу в нытье  
И тянуть заунывную ноту,  
И мусолить проклятый вопрос  
Лучше долго смеяться до слез  
Над собой, над своею бедою,  
Что, попав в анекдот с бородою,  
Принимал его слишком всерьез.

1992

#### IV. УХОДЯЩЕМУ ПОКЛОН

*“Пустоте, черноте, уходящим годам  
Из того чем жива, ничего не отдам” –  
Повторяю и слез не умею унять.  
И теряю опять, и теряю опять.  
А сегодня ни слез и ни слов, только дрожь.  
Отпущу и уйдешь, отпущу и уйдешь.  
Отпущу и уйдешь, и уйдет, и уйдем.  
И незыблем и вечен один оком.  
Остальное - лишь облака зыбкий овал,  
И живем, как плывем. Каждый так уплывал,  
Вечно что-то свое прижимая к груди,  
Заклиная: “Постой, погоди, погоди”.*

#### УХОДЯЩЕМУ - ПОКЛОН

*“Уходящему - поклон. Остающемуся - братство”  
Борис Чичибабин*

Не жизни жаль с томительным дыханьем.  
Что жизнь и смерть? Но жаль того огня,  
Что просиял над целым мирозданьем  
И в ночь идет, и плачет, уходя.

Вторую неделю твержу эти фетовские строки. Почему - не знаю. Может быть, потому что подряд случилось несколько смертей. Ушли Иосиф Бродский и Юрий Левитанский, Лидия Чуковская и Олег Волков, Борис Можаев и Лев Озеров. Ушли люди, которые действительно добавляли миру света и огня. Хочется что-то сказать им вдогонку, подумать о них, полистать их книги.

Что это? Грусть? Возможно, грусть.  
Напев, знакомый наизусть.  
Он повторяется. И пусть.  
Пусть повторится впредь.  
Пусть он звучит и в смертный час,  
Как благодарность уст и глаз  
Тому, что заставляет нас  
Порою вдаль смотреть.  
*Бродский*

Как это ни парадоксально, но смерть тоже заставляет “вдаль смотреть”, а также заставляет зорче вглядываться в настоящее: с кем остались? На что уповаем? И главное, всегда ли успеваем разглядеть и расслышать тех, кто пока еще рядом с нами?

Когда-то в юности я прочла стихотворение Юрия Левитанского о том, как умирает одинокий мало кем навещаемый человек, и комната его наполняется людьми, пришедшими проститься с покойным: несут цветы, венки. “А всего-то был нужен звонок”, - так, кажется, кончалось стихотворение. Не Бог вещь, какая новая мысль, но, если есть в мире неизменно острый дефицит чего-то, так это дефицит сердечности и внимания к ближнему. Я не о вежливости. Вежливость - тоже хорошо, но ей одной жив не будешь. На вежливом Западе многие, как известно, задыхаются от одиночества. По

Би-Би-Си прозвучало недавно любопытное сообщение: оказывается, французы вдруг начали проявлять колоссальный интерес к своему генеалогическому дереву. Они приходят в архивы и часами роются в пыльных документах, пытаясь узнать что-нибудь о своих предках. Социологи полагают, что этот неожиданный интерес вызван потребностью человека отыскать хотя бы в прошлом родную душу и вступить с ней в безмолвный диалог, поскольку с теми, кто рядом, он невозможен.

Всегда считалось, что Россию отличает от других стран большая сердечность и простота общения, более тесные семейные и прочие узы. Но, читая нынешнюю прессу, слушая радио, глядя телепередачи, начинаешь опасаться, что этому скоро придет конец. Самодовольный цинизм, злая ирония, жажда самоутверждения - вот из чего состоит аура сегодняшнего дня. В недавно повторенном телефильме "Прогулки с Бродским" поэт высказывается в том смысле, что ощутимая даже на расстоянии атмосфера нетерпимости, царящая в России, поражает его и удручает. Он ожидал, что люди, пережившие общую чудовищную катастрофу, будут относиться друг к другу с большим сочувствием и пониманием. По мнению Бродского, "человек иронизирующий" превратился чуть ли не в героя дня. Я бы сказала даже - "человек ерничающий", осмеивающий все и вся. И когда на этом фоне вдруг раздается чистый и ясный голос, отзываешься на него с радостью и благодарностью.

"Горы - горки. Так называется маленький белорусский городок, в котором я родился и прожил большую часть детства. Города этого больше нет - немцы сожгли его при своем бегстве из Белоруссии", - пишет Лев Разгон в недавно вышедшей книге "Позавчера и сегодня". Казалось бы, что мне за дело до далекого давно исчезнувшего с лица земли местечка? Моя жизнь протекала среди иных реалий и в другое время. Но повесть о жизни, рассказанная писателем, родившемся в начале века, оказывается повестью о скорби, радости и печали каждого, живущего на земле. "Думая сейчас об отце, поражаюсь душевному оупению, овладевшему мной позже, в самостоятельной жизни. Как я любил отца в детстве и как отвратительно равнодушно и снисходительно обращался с ним, став взрослым. До сих пор не понимаю природы этого!" Разве речь идет не о каждом из нас? Кто не испытал чувства вины и запоздалого раскаяния? Остановить, окликнуть, объяснить с тем, кто "в ночь идет, и плачет, уходя" - беспомощное, бессильное и все же очищающее душу чувство вины.

Я виноват, поскольку я живу.

Перед ушедшим и перед грядущим:

Дорогу застю я за мной идущим

И забываю начавших главу.

Мой каждый день - вина по существу.

Мой каждый шаг обиден и неровен.

Поскольку жив - постольку я виновен.

Но я виновен - значит я живу.

Эти стихи написал Сергей Таглин, молодой харьковский ученый, трагически погибший под колесами автомобиля в канун нового 96-го года. Рассказывая о нем, его друг поэт Михаил Красиков пишет: "Вспомнилась сразу мысль Н. Бердяева: вина - чувство человека свободного; раб знает только чувство обиды." Не отсюда ли все наши беды? С какой легкостью мы обвиняем и с каким трудом признаем собственную правоту! Как страстно обижаем и как робко хвалим! Сколько у каждого из нас на памяти случаев, когда не решились, постеснялись сказать доброе слово, похвалить, ободрить, а теперь уже поздно.

"Еще меня любите за то, что я умру", - сказала Цветаева. Простодушные, но очень точные слова.

Смертных можно ли страшать?  
Их бы холить и прощать,  
Потому что время мчится  
И придется разлучиться,  
И тоски не избежать.  
Смертный можно ль обижать,  
Изводить сердечной мукой  
Перед вечную разлукой?

1996

## ПАМЯТИ БОРИСА ЧИЧИБАБИНА

### 1. “О, МАТЕРЬ СМЕРТЬ, СНИМИ С МЕНЯ УСТАЛОСТЬ”

Трудно говорить о том, кто все сказал о себе сам. И даже угадал время года, которое станет последним:

Уходим о зимней поре,  
не кончив похода...  
Какая пора на дворе,  
какая погода!..

Этой снежной зимой (не знаю, снежная ли она была в Харькове - родном городе поэта) умер Борис Чичибабин. 15 января - сорок дней, как его нет с нами.

Так не хочется впускать злобу дня в разговор о нем, но как без нее обойтись? Ведь злоба дня, я уверена, приблизила конец. Жить вообще смертельно опасно, а в границах бывшего СССР особенно. “Доколе длится время злое, да буду хвор и неимуц.” Время злое длится. Страна раскололась, и трещина, по выражению Гейне, прошла через сердце поэта.

Первые чичибабинские стихи, которые я узнала в середине 70-х, посвящались друзьям-эмигрантам:

Край души, больная Русь, -  
перезвонность, первозданность  
с уходящим - помирюсь,  
с остающимся - останусь...

Последнее, что я слышала из уст самого поэта, это стихи о Родине, которую он потерял:

С мороза душу в адский жар  
впихнули голышом.  
Я с родины не уезжал  
за что ж ее лишен?

Наверное, надо, как водится, вспомнить биографию поэта, рассказать, что он провел пять лет в сталинских лагерях,

в моей дневной одышке,  
в моей ночи бессонной  
мне вечно снятся вышки  
над лагерной зоной;

что был исключен из Союза писателей за выступление а защиту Твардовского; что долгие годы не печатался.

Но в короткой заметке всего не напишешь. Об одном хочу сказать непременно. О таланте любить. Борис Чичибабин обладал этим талантом сполна. Он любил природу, поэзию, друзей, и страстно, нежно, преданно любил свою жену Лилию. Его недавняя книга стихов и сонетов почти вся о любви.

Для счастья есть стихи, лесов  
сырые чащи  
и синяя вода под сенью  
черных скал,  
Но ты в сто тысяч раз  
таинственней и слаще  
всего, что видел взор и что  
рассудок знал.

С трудом заставляю себя прервать цитату. Поэт действительно сказал о себе все. “Он - чистое дитя, и вы его не троньте”, - пишет Чичибабин о своем друге Миколу Руденко. Но и сам Борис Чичибабин - чистое дитя. И глаза его были детскими, и почерк. А когда Лилия подсказывала ему на вечерах строку или слово, он выглядел, как школьник, забывший урок. Вспоминаю его последнее выступление на поэтическом вечере, организованном Литгазетой. Вспоминаю его растерянность и досаду, когда он не мог вспомнить начало стихотворения, которое собирался прочесть. Лилия поблизости не оказалось, и некому было подсказать. Что он хотел тогда прочитать, не знаю. Не успела спросить.

Помереть ему? Да ну!  
Померещилось - и врете.  
В волю, в вечность, в вышину  
он уплыл из плена плоти.

.....

Не мудрец он, а юнец  
и не разу не был взрослым,  
над лицом его венец  
выткан гномом папиросным.

*Борис Чичибабин*  
*“На вечную жизнь Л.Е.Пинского”*

1995

## 2. “Я ПОЧУЯЛ БЕДУ...”

Что делает поэзию Чичибабина столь притягательной? Интонация, наверное. Едва я натыкаюсь на строки

Нам дает свой венок, - ничего не поделаешь, - Вечность,  
И все дальше ведет, - ничего не поделаешь, - Дух”,

как попадаю под обаяние этой особой неповторимой чичибабинской интонации. Понимая, что попытка разъять единое целое на составные части - задача неблагоприятная, я все же не могу не поддаться чисто детскому желанию разобрать

стихотворение, как часы, чтоб посмотреть, что за пружинки и винтики спрятаны внутри. Наверное, Чичибабин, в котором всегда было много детского, понял бы меня и не осудил. Тем более, что стихи, в отличие от часов, нельзя испортить: сколько их не разбирай, с них, как с гуся вода.

Я почувал беду - и проснулся от горя и смуты,  
И заплакал о тех, перед кем в неизвестном долгу,  
И не знаю, как быть, и, как годы, проходят минуты.  
Ах, родные, родные, ну чем я вам всем помогу?

Казалось бы, поэт не говорит ничего обнадеживающего, но строки звучат, как утешение. И “виновата”, наверное, интонация, которая нередко бывает важнее слова. Недаром к ней так чувствительны наши братья меньшие. Помню, как пес моих друзей поджимал хвост и забивался под диван, когда ему грубым голосом говорили: “Джекунчик, милый, хороший.” Но едва хозяин ласковым голосом произносил: “Пошел вон, подлец”, как Джек выползал из-под дивана и лез целоваться. Вот и нам важно не ЧТО, а КАК. Поэт говорит:

О, как мучает мозг бытия неразумного скрежет,  
Как смертельно сосет пустота вседержавных высот!,

но в голосе его столько нежности и сострадания, что нам кажется, будто он пытается согреть нас своим дыханием, взять на себя нашу тоску и неприкаянность. Поэт жалуется:

И меня обижали - безвинно, захлеб, не однажды,  
И в моем черепке всем скорбям чернота возжена...,

а у читателя возникает чувство, что ему помогают избавиться от его собственных обид. Поэт утверждает: “Век растрепан и зол. И ничто на земле не утешит”, а сам, опровергая собственное утверждение, только и делает, что утешает и спасает. На коротком отрезке пути от сердца поэта к сердцу читателя все мрачные слова преобразуются и начинают светиться, помогая нам “свободней и легче” дышать. И если у поэзии есть какое-то предназначение, то не в этом ли оно?

1996

## **ПАМЯТИ ЮРИЯ КАРАБЧИЕВСКОГО**

### **1. ЗАГЛЯНУВШИЙ В БЕЗДНУ**

Два года назад в ночь на 30 июля покончил с собой писатель и поэт Юрий Карабчиевский. Так хочется избежать банальностей типа: “трудно смириться”, “невозможно поверить”, но именно эти слова просятся на бумагу. Сколько раз за прошедшие два года я ловила себя на мысли, что мне необходимо срочно узнать, что он думает о том, о другом, о третьем. Это значит, он не ушел, он все еще с нами, он слишком ЖИВОЙ, чтоб взять да исчезнуть.

Живой. казалось бы, это даровое качество, которым обладает каждый рожденный на свет. Но в том-то и дело, что, несмотря на перенаселенность нашей планеты, живых среди нас, то есть неравнодушных, способных сильно и остро чувствовать, горячо откликаться, - единицы. Наверное, интенсивность, избыточность чувств и привела Юрия к гибели. А еще и цельность, целомудрие, верность. А еще и (при всей самоиронии и великолепном чувстве юмора) предельная серьезность и требовательность к себе.

Он был готов платить по всем счетам. Прочтите его последнюю повесть Каждый раз весной (Дружба народов, N 8, 1993). Не знаю, считал ли Юра ее полностью доработанной, но, может быть, именно благодаря отсутствию блеска и лоска в этой повести особенно отчетливо слышен его голос. Печальный, скорбный, нежный, отчаянный голос человека, заглянувшего в бездну.

Много лет назад, беседуя со мной о моей автобиографической прозе, Юра упрекнул меня за то, что пишу от первого лица. “Это непрофессионально, - говорил он, - должна же быть хоть какая-то отстраненность”. Видимо, в последнее время его отчаяние было столь велико, а потребность высказаться напрямую столь непреодолима, что он отступил от своего правила, устранив всякий зазор между собой и своим героем. К сожалению, повесть мало кто прочел и на нее мало кто откликнулся. К сожалению, если Карабчиевского знают и помнят, то в основном за книгу Воскресение Маяковского. Книгу, бесспорно, яркую, блестяще написанную, но беспощадную и во многом несправедливую.

Как известно, наши недостатки суть продолжение наших достоинств. В данном случае Юрина страстность, неравнодушие, горячность сыграли с ним злую шутку, о чем он сам впоследствии жалел. Я не раз слышала от него: “Мне теперь все меньше нравятся те, кому нравится мой Маяковский”. Жизнь тоже сыграла с Юрой злую шутку, намертво связав его имя только с этим произведением. А ведь есть у него дивная проза, собранная в книгу Тоска по дому (1991). И лежала она на полках магазинов, и ездила жена Светлана, и скупала нераспроданные экземпляры, чтоб спасти их от уничтожения. И все же часть тиража пустили под нож - не разошлась. Есть у Юры книга стихов Прощание с друзьями (1992), составленная автором и проиллюстрированная его сыном художником Дмитрием Карабчиевским. Многие ли прочли ее? А стоит, ей-Богу. Вот послушайте:

...Сегодня в тоске коридора,  
Испарину чувствуя лбом,  
Я понял бессилие спора  
Любого, с любимым, о любимом.

Впервые за многие сроки  
Я понял далекий намек:  
Мы так же с тобой одиноки,  
Как каждый из нас одинок.

И как этот факт не обыден.  
Но холод прошел по спине.  
Погасим же свет и увидим,  
Посмотрим, увидим в окне,

Как в ночь удаляется кто-то,  
В снегу оставляя тропу,  
И на три крутых поворота  
Закроем свою скорлупу.

И все же наша литературная и всякая другая жизнь не столь уж безнадежна, пока существуют такие люди, как критик и писатель Сергей Костырко, не пожалевший сил и времени на тщательное изучение Юриного архива. Недавно архив передан в РГАЛИ и скоро будет открыт для всех, кто заинтересуется творчеством Карабчиевского. Как-то незадолго до гибели, рассуждая об эмиграции, Юра сказал: “Уж если уезжать, то только в Израиль. Израиль, как и Россия, - судьба. Все остальное - просто место проживания”. И добавил: “Знаешь, когда вырывают зуб, на его месте остается луночка. Надо жить там, где, если умрешь, она останется”. Ты жил именно там, Юра. Поверь.

Несмотря на все безумие, неразбериху и суетность нашей жизни, несмотря на нераспроданные и пущенные под нож экзemplяры твоей книги, ты жил там, где луночка осталась.

1994

## 2. Я ПРОЖИЛ ЖИЗНЬ НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ ПЫТАЛСЯ

“Кто такой Карабчиевский? - спросила я своего друга Феликса Розинера. - Мне недавно попался в одном тамиздатской журнале его великолепный очерк Улица Мандельштама. “Не знаю, - ответил Феликс, - я знаком с Л-ней Карабчиевским. Постараюсь у него выяснить.” “Наверное, он давно уехал, раз ТАМ печатается”, - решила я. Шел 76-й год. Я повсюду возила с собой сборник с очерком, который перечитывала по дороге и давала знакомым. Очерк был написан абсолютно свободным человеком, умным, темпераментным, влюбленным. Некоторое время спустя мне позвонил Феликс. “Знаешь куда я сегодня иду? К Юре Карабчиевскому. Он оказывается Л-нин двоюродный брат. И знаешь, где он живет? По соседству с тобой, в Теплом Стане. Л-ня сказал, что у Юры есть роман приблизительно на ту же тему, что и мой. Я обязательно должен его прочесть. Мы сговорились встретиться у него вечером. Оттуда забегу к вам.” Феликс зашел поздно вечером с толстой папкой, в которой лежал роман Жизнь Александра Зильбера. “Я сказал Юре, что здесь живут мои друзья, что ты пишешь стихи. Предложил ему вас познакомить, но он отказался.” Феликс засмеялся: “Знаешь, что он сказал: “А вдруг стихи плохие. Что я должен буду делать - врать, притворяться? К тому же, раз мы соседи, придется встречаться. Не знакомь, не надо.”” Но спустя какое-то время Юра позвонил сам и попросил разрешения зайти. Не помню по какому поводу. Мы увидели худого, лысого человека с густой черной бородой и внимательными темными глазами. Поначалу он чувствовал себя скованно, но постепенно разговорился и даже развеселился, шутил с моим восьмилетним сыном и с нежностью поглядывал на двухлетнего младшего. Я рассказала ему, как влюбилась в его “Манделштама”, как считала эмигрантом, а обнаружила по соседству. Перед уходом он осторожно упомянул, что слышал будто у меня вышел сборник стихов. Я подарила ему книжку, которая, к счастью, его не напугала. Мы подружились. Юрин дом был через дорогу, а вернее, через пустырь, на котором Юра выгуливал свою собачку, иногда почитывая газету, но чаще размышляя. Временами он настолько был погружен в свои мысли, что даже не слышал, как я звала его из окна. Так и вижу Юру в ушанке и валенках, задумчиво бредущего по снегу за своей Джулькой. Хорошо жить по соседству в огромном городе, который разлучает даже близких друзей. Раздается телефонный звонок: “Вы дома? Я сейчас пойду на работу и по дороге забегу.” Через пять минут - три энергичных звонка в дверь. Так звонит только наша семья и Юра. Короткий разговор в коридоре, но уже столько сказано обо всем на свете: о литературе, детях, политике, общих знакомых. Да еще вспомнили анекдот, который так приятно рассказывать Юре, потому что, кто же еще так смеется, как он? А годы были глухие, давящие. Юра часто забегал, чтоб обсудить с Борей последнюю выходку “нечистой силы”, которая не обделяла вниманием обе наши семьи. Боря много лет занимался правозащитной деятельностью и был дружен с Сахаровым. Юра печатался за рубежом и участвовал в издании Метрополя. Иногда круг сужался настолько, что, казалось, вот-вот произойдет катастрофа. В эти дни мы виделись особенно часто: то Боря забегал к Юре, то Юра приходил к нам и мы долго беседовали, отключив телефон. Юра хоть и посмеивался над Бориным оптимизмом, но часто приходил за его мудрым советом и дозой того самого оптимизма, в котором он нуждался.

В ноябре 83-го года, в день обыска раздались знакомые нетерпеливые звонки и на пороге вырос Юра. У него, как положено, проверили паспорт: “Ага, вот и Карабчиевский

пожаловал”, - произнес с усмешкой один из гебистов. Юра пошел на кухню, я налила ему чаю и завязался разговор, в котором тревожные полунамеки перемежались шутками и смехом. Он оставался с нами до вечера. Собственно, он и пришел за тем, чтоб остаться, так как знал, что до конца обыска его не выпустят.

Юра был одним из первых, кому я позвонила, когда умер Сахаров. Боря и старший сын, узнав о смерти А.Д. в 11 вечера, немедленно уехали на ул. Чкалова, а я, не находя себе места, позвонила Юре. Он был настолько потрясен, что не мог говорить. Наш странный, почти бессловесный разговор продолжался почти час и был спасительным для меня той поздней ночью.

Как теперь жить в Теплом Стане, где так привычно видеть из окна Юру, который, слегка подавшись вперед, торопится, почти бежит то из дому, то к дому. Вот он тащит на спине рюкзак. “Ты что, уезжаешь?” - окликаю я его из окна. “Нет, несу чинить машинку”, - кричит Юра. Вот он идет к остановке встречать с работы Свету, свою жену. Вот тащит огромную папку с картинами своего младшего сына Димы. Видимо, носил показывать кому-то из художников. Картинами заставлена вся квартира Карабчиевских. Одни висят, другие стоят, уткнувшись лбом в стену. До чего же повезло Диме с отцом, который, не будучи художником, так тонко чувствовал сына и его живопись. Сколько внимания, терпения и такта проявлял Юра в отношениях со своим трудным, непредсказуемым и одаренным мальчиком. Помню, как возвращаясь домой, встретила расстроенного Юру, который понуро брел в соседнюю школу. “Иду на педсовет. Будут Димку прорабатывать. Ох, надоело.” Вскоре, слава Богу, Дима бросил школу и занялся живописью. Писал он, как одержимый. какими-то нетерпеливыми, нервными мазками. Палитра его становилась все светлей и ярче. Юра и восхищался им, и боялся за него, выкраивая каждую копейку, чтоб купить холсты и краски. Возил его к художнику Борису Биргеру. Пытался устраивать небольшие выставки, не желая, чтоб Димка варился в своем соку. С каким терпением и пониманием относился он к его переменчивым желаниям. “Диме трудно в Москве. Здесь темно и мрачно. Этот серый цвет - его же не приподнять.” И Юра везет его в свою любимую Армению. Возвращается в Москву, где ждет работа, и снова срывается с места, узнав, что Димка захандрил.

Вся Юрина жизнь - это служение. Служение близким, друзьям, которым всегда был предан, и, конечно же, своему (не знаю, как сказать: Юра не любил высоких слов) писательскому делу? Литературе? Призванию? - к которым относился жертвенно. Не понимаю, когда он успел столько написать. Ведь он ходил на работу (был наладчиком по приборам), ездил в командировки. Правда, в командировке ему иногда удавалось закончить работу раньше срока и остальное время писать. Когда не писал - мучался. Вернее, им овладевало беспокойство, ощущение, что он попусту теряет время. Юра как-то целомудренно относился к писательству. Никогда не говорил всуе о том, над чем работал. Одно время он стал часто приходить к нам за томиком Маяковского. Давая ему очередной том, я спросила: “Ты что, телегу на Маяковского строчишь?” Он засмеялся: “Точно. Как догадалась?” Весной не помню какого года он дал мне завершённую рукопись “Воскресение Маяковского”. Я читала эту вещь в нашем соседнем лесочке. Как села на скамейку, так и не встала, пока не прочла. Книга меня поразила, вызвав самые противоречивые чувства: от восхищения до протеста. Но как бы я к ней ни относилась, я не могла не преклоняться перед блеском его таланта. Это была работа мастера, виртуозно владеющего словом. Мы много толковали с Юрой об этой книге. Боря, который всегда говорит, что думает, сказал, не выбирая выражений, что Юрина жесткость недопустима в отношении к поэту, которого многие любят или любили, что книга многих оттолкнет и обидит. Юра не соглашался, расстраивался и даже сердился. Но через несколько лет, когда книга уже была прочитана в России, признался, что ему больше нравятся те, кто защищает Маяковского, чем те, кто его ругает. Он смягчил свою критику, и окончательный вариант книги несколько отличается от первоначального.

Юра как-то сказал мне: “Знаешь, у тебя замечательные дети. Главное не то, какие они сегодня, а то, что они постоянно в развитии. Они способны меняться. Это здорово.” Я

вспоминала эти его слова, читая некролог в Независимой газете, в котором автор некролога Кронид Любарский приводит Юрины строки: “Человек - явление динамическое, в статике его просто нет. Он должен непрерывно осуществляться, как бы продолжать свое существование. И я лично, именно я, про других ничего сказать не могу, вне России я эту способность теряю полностью и начинаю чувствовать себя погребенным заживо. Как бы при жизни тела - гибель души.” Да, Юра и статика - два понятия несовместимые. В нем постоянно шла напряженная внутренняя работа, он размышлял, отвергал, восхищался, спорил. Его нередко “заносило”. Иногда он был несправедлив, излишне резок, чересчур категоричен, но никогда - равнодушен, вял, инертен. И всегда честен. Его реакции были непредсказуемыми. Даю ему поразившие меня дневники Лидии Гинзбург и получаю обратно их со словами: “Не понимаю, о чем это все.” Беседую с ним о мультфильме Юрия Норштейна Сказка сказок и слышу, что хорошо там только волчок, который дует на картошку. Остальное - литература. Но главное не то, что он умел кусаться (это многие умеют), а то, что он умел отказаться от прежней точки зрения, взглянуть иначе, признать свою неправоту. Так случилось с фильмом Норштейна. Посмотрев его Сказку снова, Юра пришел к выводу, что фильм гениален. После просмотра недоснятой Шинели в Доме Художника на Крымском валу, подошел к Норштейну и сказал: Скоро будут говорить, что вся кинематография вышла из Вашей Шинели.” Он часто ругал мои стихи, а об автобиографической прозе сказал, что не понимает, как можно писать от первого лица, и вообще писать о себе, не имея на то социального заказа. Как-то я дала ему рукопись стихов, которую собиралась представить в издательство. Он позвал меня для разговора, оказавшегося столь крутым, что Юра, испугавшись, пошел провожать меня прямо а тапочках, приговаривая: “Не слушай меня. Я урод. Выбрось мои слова на помойку.” Естественно я очень струсилась, увидев его на одном из моих вечеров. Выступая, я ни на секунду не могла забыть, что в последнем ряду сидит Юра. Каково же было мое изумление, когда он подошел ко мне после вечера и, расцеловав, сказал: “Слушай, ты молодец. Все так органично, естественно, просто. Я тебя поздравляю.” Юрины литературные пристрастия и вкусы никогда не зависели от того, любит ли данный автор его, Юру, как писателя, или нет. Помню, с каким удовольствием читал он нам стихи Битова, опубликованные не то в Новом мире, не то в Литературной газете. “Какое изящество, как умно”, - повторял он, перечитывая отдельные строки. И это о Битове, который, как я знала от Юры, не принимал Юриной прозы и нередко ругал его. (Одно время Битов жил в Теплом Стане и они довольно часто встречались.) Юра обладал драгоценным свойством: он умел любить своих друзей и восхищаться ими. “Я люблюсь им, - говорил Юра о Саше Лайко, ныне живущем в Германии, - он так артистичен, легок, умен и у него есть замечательные стихи. Действительно замечательные. Вот, послушай...” Когда Юру начали печатать, он носил по редакциям рукописи Лайко и Бориса Хазанова, которых ценил и считал несправедливо обойденными. На заре перестройки мы с моим другом Аликом Зориным затеяли поэтический клуб в уютном подвальчике на Ленинском проспекте. Я пригласила Юру выступить у нас и устроить там же Димину выставку. Он охотно согласился и предложил позвать Сашу Лайко почитать стихи. На вечере Юра был в ударе. Много шутил, смеялся, говорил, что зал ломится (это был зальчик мест на 80) от родственников и домочадцев. В первом отделении выступал Саша, во втором - Юра, который читал прозу и стихи.

Оставь мне, Господи, мою немую душу.  
Когда не вымокну, не выгорю, не струшу –  
Авось хоть что-нибудь смогу произвести.  
А не получится - Господь меня прости.

Стихи, по-моему, были его болью. Он доверял им самые сокровенные движения души. Насколько я понимала, Юра начинал со стихов, которые почти перестал писать, занявшись прозой, и вернулся к ним только в последние годы. Мне кажется, он бросил

стихи не только потому, что переключился на прозу, но и потому, что был разочарован и уязвлен реакцией на них тех, от кого зависел выход к читателю.

Таскаюсь по редакциям журналов,  
Свою любовь за деньги предлагаю,  
За очень мало, за почти что даром.  
Никто ее задаром не берет.

Он прекрасно понимал, какое было время, и все равно не мог не страдать. Ведь стихи почти всегда, за редким исключением, носят более личный характер, чем проза, а значит и более беззащитны. И, отвергая стихи, тем самым как бы отвергают тебя самого, твою человеческую сущность. Это, конечно, мои домыслы, но я вспоминаю, как осторожно, как бы неуверенно давал мне Юра папку своих стихов. Вспоминаю, как ему важно было услышать мнение о них, как он обрадовался, когда я сказала, что мои друзья их читают и даже переписывают. Мне кажется, что стихи всегда значили для него больше, во всяком случае, не меньше, чем проза, и он хотел, чтоб они дошли до читателя. Уже в недавнем времени, когда его, наконец-то, стали печатать, он принес подборку в какой-то толстый журнал, где отнеслись к ней вяло и ничего не обещали. Юра сгреб свои листочки и в сердцах сказал: “Я дождусь того времени, когда вы будете печатать каждую мою строку.” Когда он пересказал мне этот разговор, я ахнула: как он решился сказать такое? Но подумав, поняла: это и есть то самое “нищее величие и задерганная честь” (ведь столько лет не печатали и унижали!). Это и есть Юра, в котором застенчивость и скромность сочетаются с сознанием собственной значимости. Помню, как его “ломало” перед каждым посещением редакции, как ему трудно было туда ходить. Он и не ходил, обжегшись в начале пути, и печатался только за рубежом. Первой попыткой напечататься дома была публикация в Метрополе в 79-м. Все знают, чем это кончилось. Но в новую эру он возобновил “хождение по мукам” и, к счастью, успешно. По-моему, начало положила Литературная Армения, напечатавшая его Тоску, потом в журнале Театр вышло Воскресение Маяковского, одновременно печатались какие-то рецензии в Новом мире, потом Жизнь Александра Зильбера в Дружбе народов, подборки стихов в Огоньке и Литературной газете и пошло-поехало. Меня греет сознание, что некоторые свои вещи, например, повесть Незабвенный Мишуня он писал в нашей квартире, когда мы перебирались на дачу. Возвращаясь в сентябре домой, я всегда обнаруживала следы Юриного пребывания - кран на кухне переставал “кричать”, выключатель в коридоре работал исправно. “Ты меня зови, если что надо,- часто говорил Юра, - у меня все же техническое образование.” Но это так, к слову. Просто хочется, вспоминая все подряд, продлить общение с ним, не отпускать его, не прощаться.

Как Юра жил последние годы? “Хорошо - плохо”, - как сказал он сам в одном из своих интервью. Хорошо - потому что не мог не радоваться возможности говорить и быть услышанным, возможности издаваться в собственной стране. Плохо - потому что новые времена - это не только гласность, но и Сумгаит, который он, тесно связанный с Арменией, пережил, как личную трагедию, саперные лопатки в Тбилиси, трагедия в Вильнюсе и Баку, беженцы, горе, хаос, распад, усталость. Надо ли продолжать? Новые времена - это “Память” с ее кликушами на улицах и грязными газетенками в переходах метро. Я позвала Юру на заседание “Апреля” в тот печально знаменитый день, когда туда пришел Осташвили со своей командой. Глядя на жестокие и веселые лица улюлюкающих мальчиков, наблюдая весь этот шабаш, мы, кажется, чувствовали одно и то же. Прочь отсюда. Прочь из страны, из которой гонят. Но это было настроение момента. Ни я, ни Юра никуда уезжать не собирались, понимая, что нигде больше жить не сможем. Мы и до перестройки обсуждали, не могли не обсуждать отъездную тему. Юра, чувствуя к себе повышенный интерес ГБ, боялся за семью, но отъезд казался нежеланным, да и неосуществимым мероприятием. “Слава Богу, Аркан (Юрин старший сын) не настаивает на отъезде. Света и Димка вообще не хотят”, - говорил Юра. Так

было в конце 70-х, начале 80-х. После 86-го ситуация изменилась. Отъезд стал реальностью. Старший сын уехал в Израиль, младший метался. Но главное - Света. "Знаешь, Светка собралась в Израиль", - сказал однажды Юра. "Ты думаешь, это серьезно?" - спросила я. "Абсолютно", - ответил он. Поговорив с ней по телефону, я убедилась в этом сама. "Как вы можете здесь жить? - говорила она, - Вас гонят, а вы сидите. Это унизительно. Чего вы ждете? Крови?" "Наверное, она права, - сказал однажды Юра, - тут нечем гордиться, но я не могу уехать." Уезжая, она, конечно же, надеялась, что он придет следом. Он и приехал. Пожив в Израиле, Юра полюбил эту страну. Он часто повторял, что, если бы мог уехать, то поехал бы только туда. "Израиль - это судьба, - говорил он, - понимаешь, жить надо там, где, когда умрешь, останется луночка, выемка, какая бывает, когда вырвут зуб. Мне кажется, что такое может произойти только в России и в Израиле." Да, Юра полюбил страну, говорил о ней с нежностью, радовался, что старший сын чувствует себя в Израиле дома, но, пожив там, еще острее ощутил, что не может без России. Помню, как, встретившись после его возвращения, мы шли к остановке автобуса мимо очереди за спиртным, мимо толп, ожидающих открытия Универсама после обеденного перерыва. "Не могу я без этого, - с горечью сказал Юра, - без этих алкашей, неприбранности, бестолковости этой..." Снова и снова вспоминаю Юрины слова, процитированные в некрологе: "Вне России... начинаю чувствовать себя погребенным заживо. Как бы при жизни тела - гибель души." Да, именно так. Испытав то же самое, я сделала несколько не очень удачных попыток написать об этом, чтоб объяснить прежде всего самой себе, что происходит. И единственное определение, которое нашла, таково: Я ПЕРЕСТАЮ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ не как-то (хорошо - плохо, напряженно - свободно, дома - не дома), а просто ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ. Происходит некое онемение, подобное онемению конечностей, когда отсидишь ногу, когда затекает рука. И чтобы вернуть чувствительность, надо сделать только одно - вернуться.

Прожив в Израиле в общей сложности больше года, Юра в марте вернулся. И не один, а вместе со Светой. Он был счастлив, что снова в Москве: "Господи, какие здесь замечательные люди, - говорил он при случайной встрече у метро Коньково, - я думал, все раздражены, озлоблены. Оказалось, ничего подобного. Забыл на почте сумку с документами, деньгами, чужими письмами, прибегаю, а там все счастливы, что я нашелся. Не знали, где меня искать." Но в разговоре со Светой я услышала совсем другое: "Какая тоска. Там, не имея ни угла своего, ни денег, я чувствовала себя дома и в безопасности, а здесь - все то же, что было, только еще хуже." И как не понять ее? Кровь в Молдавии, откуда она родом и где до сих пор живут ее родные, кровь в Осетии, кровь в Карабахе. А если не ходить далеко, то красно-коричневые возле Останкина с их откровенно фашистскими лозунгами и перекошенными от ненависти лицами. А перед глазами - обшарпанные московские коробки, заплеванной подъезд, пропахший мочой лифт с нацарапанными на стенах ругательствами, постылые очереди, разваленные помойки, пьяная тусовка возле дома. И, слушая Свету, я вспомнила белый город Иерусалим, его дивную архитектуру, чистые улицы, ухоженные подъезды с любовно развешенными на этажах картинами и кашпо, веселую, красивую и доброжелательную молодежь, открытые кафе, в которых беседуют и смеются нарядные и спокойные люди. Конечно же, Юра прекрасно понимал, почему ей здесь плохо, почему, едва вернувшись, она снова стала рваться отсюда. Как бы он хотел мочь там жить, но он не мог. "Я понимаю, я снова нарушил, я опять не соблюл. - писал он, вернувшись, - Простите меня, но все дело в том, что жить я могу в одном-единственном месте. Может, и там не смогу, но больше уж точно нигде." Слышу Юрин голос, читая эти строки. Выступая на одном из вечеров, Юра говорил, что в идеале эмиграция должна стать таким же обычным делом, как переход на другую сторону улицы. Он и попытался так жить: уезжал, возвращался, снова уезжал ... и возвращался. Но жизнь на две страны не получилась: дикие цены на билеты, отсутствие жилья и заработка в Израиле и эти вечные проводы, эти одинокие возвращения в пустую московскую квартиру... Увидев его измученное лицо, его страдающие глаза, когда он

вернулся от Светы в мае 91-го, я испугалась: “Что-нибудь случилось?” “Да нет, все то же,- сказал он мрачно, - тяжело возвращаться.” А через неделю Юра улетел туда же и уже надолго - почти на год: Света тяжело заболела. Нынешней весной они вернулись из Израиля вместе. Юра попытался наладить жизнь, войти в колею, начать писать. За неделю до самоубийства он сказал, что Московские новости хотели заказать ему материал, но он отказался - не хотел размениваться. Решил писать большую вещь. Но легко ли входить в колею после такого перерыва? Можно ли работать, когда рядом мается близкий человек, и ты невольно виноват в том, что ему плохо. Воистину, Господь не злонамерен, но изощрен. Именно Юра, для которого отъезд смерти подобен, именно он, который в самых дерзких снах своих не мог увидеть того, что наконец случилось, то есть, что он читаем и любим в России, именно он, безоглядно преданный семье и готовый на все ради ее блага - именно он в течение нескольких лет был терзаем неразрешимой проблемой: уехать, заживо себя похоронив, или стать причиной мучений близкого человека. “Господи, - говорят люди, узнавшие о трагедии, - совершить такое в самом расцвете таланта и славы...” Да, это так. Но еще до отъезда в Израиль в ответ на мои поздравления в связи с выходом Зильбера, Юра сказал: “Ну и что? Никому сегодня не нужна литература. Мой Маяковский нужен потому, что скандален. Остальное не прочтут.” Возможно, это одно из его максималистских утверждений, но оно отражает его самочувствие последних лет.

К великому сожалению, мы редко виделись последний год. Сперва уезжал он, потом мы. Я знала, что вернувшись, он засел за большую вещь и боялась лишний раз звонить, хотя мне так хотелось дать ему журнал Согласие с небольшой повестью Юрия Малецкого, где очень точно описано то, о чем мы столько говорили: неприкаянность российского человека за рубежом. Впрочем, Юре эта вещь могла и не понравиться - с ним ведь никогда не угадаешь. Пишу и сама не знаю, при чем тут Малецкий и его повесть. А при том, наверное, что хочется удержать то время, когда так просто было снять трубку и услышать знакомое: “А, привет”, так естественно было, открыв на три звонка, увидеть на пороге Юру. “Кофе будешь?” “Да нет, я на минуту...” Все это я пишу ему вдогонку. Пишу, потому что не могу не говорить с ним, не думать о нем, потому что хочу сохранить его живым и хочу понять, как могло случиться то, что случилось. Я видела Юру всяким: веселым и легким, участливым и нежным, мрачным и подавленным, но никогда - опустошенным, выдохшимся. Прокручиваю про себя все последние разговоры, которых, как я сказала, было не так уж много и, натываясь на страшную июльскую ночь, в ужасе отшатываюсь. Не постигаю. Не могу смириться. И в который уж раз повторяю то, что сказал, а вернее, простонал нежно Юрой любимый Леня Баткин: “Юра, как больно.”

Я прожил жизнь, не хуже, чем пытался.  
Все выжал из нее и все в ней выжил.  
И кончился. И просьба не винить.  
И нет меня. Но остаются дети.  
Ночь на исходе, утром на работу.  
Привычную напялив оболочку,  
Я вновь прикинусь теплым и живым.  
Мой внешний вид вне всяких подозрений  
Ни зеркала, ни взгляды сослуживцев.  
Но есть глаза, есть два таких зрачка, -  
В которые вошла без искажений  
Моя потусторонняя тоска...

1992

\* \* \*

Опять утрата и урон,  
Опять прощанье,  
И снова время похорон  
И обнищанья.

От боли острой и тупой  
Беззвучно вою,  
И говорю не то с собой,  
Не то с тобою.

Я говорю тебе: “Постой.  
Постой, не надо.  
Быть может, выход есть простой,  
Без дозы яда.”

Ты мертвый узел разрубил  
Единым махом,  
В земле, которую любил,  
Оставшись прахом.

1992

\* \* \*

Миру всякая смерть,  
Что слону дробина...  
Золотистая твердь,  
Красная рябина.

Кто почил, кто воскрес –  
Миру, что за дело?  
Лишь бы вспыхивал лес  
Да листва летела.

Бьешься рыбой в сети –  
Бейся, ради Бога.  
Тянет вовсе уйти –  
Скатертью дорога.

Мир тихонько себе  
Что-то там бормочет,  
А о смертной судьбе  
Даже знать не хочет.

1992

\* \* \*

Уйти легко, а вот остаться  
На этом свете, то есть сдаться  
На милость предстоящих лет  
Не просто. Проще сдать билет.  
И ни хлопот тебе, ни давки –  
Сплошные радости неявики:  
Не значусь, не принадлежу,  
С опаской в завтра не гляжу.

1993

\* \* \*

Дней ослепительные вспышки  
И красок огненных излишки...  
Сегодня каждый озарен  
И каждый смертен, так как к вышке  
С рождения приговорен.

А лето льет такие пули.  
И жалко умирать в июле,  
Вернее, жарко умирать.  
Куда приятней жить в загуле  
И плод сладчайший выбирать.

А плод земной и правда сладок.  
Какой убийственный порядок  
Без сострадания казнить  
Любого, кто до жизни падок.  
Пора порядок упразднить  
И завести совсем иное  
Существование земное,  
Живя без точки и конца,  
Как луч, что гаснет за стеною,  
Чтоб загореться у крыльца.

1992

\* \* \*

Кипень вся июльская, весь жасмин –  
На помин души твоей, на помин,  
На помин души, того кто устал,  
И ушел, отчаявшись, и не стал  
Срока ждать предельного. Ах, июль,  
Что в тебе смертельного? Горсть пилюль  
Да тоска бездонная всех ночей,  
Да бессилье полное всех речей.

1994

## О ЕВГЕНИИ САМОЙЛОВНЕ ЛАСКИНОЙ

В 66-м году я познакомилась с Арсением Тарковским. Он прочитал мои стихи и сказал: “А почему бы Вам не отнести их Жене Ласкиной в журнал Москва? Она очень милая. Скажите, что я Вас к ней послал.” Я еще ни разу не носила стихи в редакцию и очень боялась. Все же после разговора с Тарковским решилась. Помню, как тянула время, отыскивая нужный дом на Арбате, как снимала куртку и долго засовывала в рукав шапку, как искала кабинет, как надеялась, что он окажется пустым, как не знала, что сказать, отдавая стихи: а вдруг не возьмет, а вдруг возьмет, прочтает и высмеет? Я постучалась и вошла. За большим столом сидела худенькая немолодая женщина с гладкими, собранными в пучок волосами. Она что-то писала, но тут же подняла голову и приветливо спросила: “Принесли стихи? Очень хорошо. Только извините, я не смогу их прочесть прямо сейчас. У меня много работы. Вы можете их оставить? Вот мой телефон. Позвоните через неделю. Непременно.” Я вышла из кабинета счастливая. Оказывается, это совсем не страшно - носить стихи в редакцию.

Через неделю позвонила. Позвонила из учительской курсов, на которых тогда преподавала. Из шумной и людной комнаты, надеясь, что шум хоть немного заглушит то страшное, что вот-вот услышу. “Мне очень понравились Ваши стихи. Мы их обязательно напечатаем. Вы молодчина”, - отчетливо и громко сказал знакомый низкий голос.

Пишу и себе не верю. Неужели это было: пришел в журнал молодой неизвестный автор и ему рады, принес стихи и их читают? Причем в течение недели, как обещано. Неужели было такое, что стихи печатались только потому что понравились и больше ничему? Неужели существовала литературная редакция, в которую приходили, как в клуб: показать свое, почитать чужое, поговорить “за жизнь”, посоветоваться? Неужели я застала такое время? Нет, не время - осколок времени, случайно сохранившийся и на глазах исчезнувший островок? Слава Богу, застала. И благодаря этому могу хоть немного представить себе времена, о которых знаю по чужим воспоминаниям. Золотой век, серебряный... “Ничего не осталось от жизни иной.” Наступил день, когда я пришла читать верстку. Первую в моей жизни. Евгения Самойловна понимала это и торжественно положила передо мной лист со стихами. Когда я уходила, она спросила: “А что же Вы мне не сказали о Тарковском? Я его встретила вчера в лифте и выяснилось, что это он Вас ко мне прислал.” Я пожалала плечами, не зная, что ответить, а про себя подумала: “И правильно сделала, что не сказала. Ведь печатают и так, безо всяких рекомендаций.” “Разбежалась, глупенькая”, - как говорят мои сыновья. Приняла исключение за правило. Но жизнь, побаловав вначале, потом долгие годы учила уму-разуму. Учила, учила и научила на три версты обходить конторы и канцелярии. В том числе контору и литературную, в которой ты, пишущий, в лучшем случае ненаблюдаем, как пылинка в воздухе, а в худшем - ненавистен, как нечто мешающее работникам говорить по телефону, обедать, стучать на машинке, заседать, встречаться с нужными людьми. Одним словом, жить своей, неведомой тебе жизнью, на которую ты посягаешь, предаваясь непростительному греху - сочинительству и упорству в постыдном желании печатать свои труды.

Накануне 69-го года я позвонила Е.С., чтоб ее поздравить и услышала в трубке веселый, энергичный голос: “У меня новости. Сегодня я была в журнале в последний раз. Меня уволили.” “Как? Почему?” - невольно вырвалось у меня, хотя я прекрасно все понимала. Причина - публикация романа Мастер и Маргарита. Публикация, которой немало способствовала Е.С. “Ничего. Все правильно. Так и должно было случиться.” - ответила она. Я пыталась выразить сочувствие, но Е.С. прервала меня: “Ларисочка, миленькая, у меня утка горит в духовке.” Мы дружили долгие годы. Я дарила ей свои самодельные книжки и публикации, советовалась обо всем на свете, начиная с литературных дел и кончая “детскими” проблемами. Однажды, когда я в очередной раз

посетовала, что моя книжка лежит в издательстве без движения, Е.С. воскликнула: “А что Вы хотите, миленькая? Вы же ничего не делаете, чтоб она вышла. Надо ходить, добиваться. Под лежащий камень вода не течет.” Она была не совсем справедлива. Я ходила. Наверное, недостаточно для того, чтоб “пробить” книжку, но достаточно для того, чтоб возненавидеть это занятие на всю жизнь. Но я навсегда запомнила, как в осенний день 1966 года вошла в кабинет и услышала: “Принесли стихи? Очень хорошо.”

1991

## ПАМЯТИ ГРИГОРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ЛЕВИНА

Где-то в середине 60-х я попала в литобъединение “Магистраль”, которое вел поэт Григорий Левин. Помню поразивший меня своей смелостью доклад Владимира Леоновича о РАППе. Помню грустные стихи Яна Гольцмана, которые кончались строчкой: “А у белых у мышей - красные глаза.” На занятиях “Магистрале” постоянно присутствовал вечно начинающий поэт с совершенно седой головой. Он всегда выкрикивал с места надтреснутым голосом какие-то задиристые фразы, открывал свой потрепанный школьный портфель, вытаскивал оттуда ворох бумажек, читал их, шевеля губами, и засовывал обратно. И надо всем этим царил высокий, стройный, темпераментный Григорий Левин.

Однажды я показала Григорию Михайловичу стихи, написанные после поездки на Север. Конечно же, там было про белые ночи и про морошку. Дочитав до конца, Левин разочарованно сказал: “А я думал, Вы вспомните о Пушкине. Вы ведь знаете, что он перед смертью просил морошки.” Григорий Михайлович заговорил о Пушкине, потом о Блоке, потом о ком-то еще. Мы вышли из Клуба железнодорожников, где собиралась “Магистраль”, пошли по Каланчевке, дошли до Садового кольца, а Григорий Михайлович все говорил и говорил энергично и страстно о поэтах старых и новых, о поэзии и переводах, читал стихи свои, чужие, известные и неизвестные. Он знал миллион строк, имен, историй и готов был ими поделиться. Мы шли и шли, и кажется добрались до ЦДЛ, где и расстались. “Пишите и несите все, что напишите. Буду ждать.” - сказал Григорий Михайлович на прощанье.

Еще до нашего с ним знакомства кто-то из друзей посоветовал мне: “Пойди к Григорию Левину. Он чокнутый. Будет часами говорить с тобой о литературе и разбирать твои стихи.” Все так и вышло. И слава Богу. Когда такие “чокнутые” уходят, мир становится пугающе пресным и пустым. Вспоминая эти, казалось бы, незначительные детали, пытаюсь хотя бы бегло обрисовать далекие 60-е, когда наряду с официозом (литературными генералами, пышными юбилеями и дежурными декадами) существовала другая, совсем другая жизнь. И “Магистраль” и “Знамя Строителя” были той форточкой, через которую мы дышали. Сейчас, когда распахнуто все, что распахивается, в форточках больше нет нужды. Однако возникли серьезные проблемы с воздухом. Воздух таков, что иногда хочется задержать дыхание. Но это уже иная тема.

1994

\* \* \*

И все же уговор жестокий –  
Не оглянуться на истоки,  
На тропку, смятую пятою,  
На прошлое, на прожитое,  
На прежний сад, на прежний дом,  
На преданный огню Содом  
Не поглядеть в немой печали,  
Чтоб ангелы не осерчали,  
Когда все те, что в вечность канут,  
Во след глядят и руки тянут,  
С тоской по имени зовут...  
И можно ли найти приют,  
Покой, уйдя к иным просторам,  
И не простившись даже взором?

1971

\* \* \*

А чем здесь платят за постой,  
За небосвода цвет густой,  
За этот свет, за этот воздух  
И за ночное небо в звездах?  
Все даром, говорят в ответ,  
Здесь даром все: и тьма, и свет.  
А впрочем, говорят устало,  
Что ни отдай, все будет мало.

1983

\* \* \*

За концом, пределом, краем,  
За чертой, где умираем,  
Простираются края,  
Протекает жизнь земная,  
Тропы новые вия.  
Годы, скрытые от взгляда,  
Станут чьим-то листопадом,  
Чьей-то болью и тщетой,  
Чьим-то домом с тихим садом,  
Чьей-то памятью, святой.  
И таит земное лоно  
Лета будущего крону,  
Весен будущих траву,  
Лист, которого не трону,  
Плод, который не сорву.

1975

\* \* \*

А жизнь идет без передышки,  
Не прерываясь ни на миг.  
Идет, когда читаем книжки,  
Когда спешим на чей-то крик,  
Идет, когда живем, играя,  
Иль в бездорожье путь торим,  
Когда, скучая, ждем трамвая,  
Когда с любимым говорим,  
Когда, резвясь, сшибаем льдинку,  
За прошлым мчимся по следам,  
Идет то будто под сурдинку,  
То разрывая сердце нам,  
Идет в пылу мы или в дреме,  
Затишье нынче или бой,  
Идет, когда сырые комья  
Стучат по крышке гробовой.

1969

## V. МЕМУАРЫ, ФЛЕР И ДЫМКА

*Моя любовь, мое проклятье,  
Судьба моя, в твои объятия  
Лечу. В неверные твои,  
Таи все тайное, таи,  
Ветрами раздувай мне платье,  
Июньским ливнем напои.  
И на отчаянное “где ты?”  
Не отвечай.. Лучом согреты  
Дороги, по каким лечу...  
Не ты ль склоняешься к плечу  
И шепчешь: “Вот промчится лето,  
А осенью озолочу”.*

## ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Чувство пути появилось не вдруг и не сразу. Долгие годы я жила без него и жила плохо. В отрочестве и юности засыпала и просыпалась с одним и тем же тоскливым вопросом “зачем?” Зачем встаю, зачем ложусь, зачем живу. Не покидало ощущение, что ответ есть и где-то близко. Но где? “Трагический отроческий возраст” затянулся. Чувство пути и неслучайности происходящего возникло лишь после тридцати. И вот, добытое ценой стольких лет поиска, исчезло снова. Потому и пишу, решив вернуться назад в надежде отыскать утраченное.

В детстве, как и положено, день был наполнен до краев. И, едва открыв глаза, я начинала торопиться делать все то, от чего оторвали вчера, уложив в постель и погасив свет. Маета началась позже, лет в 13-14, когда, сидя во время концерта рядом с мамой, я обнаружила, что мне в тягость ее присутствие. Музыка переворачивала душу, мешала говорить, хотелось спрятаться, исчезнуть. А мама о чем-то спрашивала, предлагала яблоко, подводила к знакомым во время антракта. Музыка распахивала

дверцу в какое-то иное бытие, но что с этим делать, я не знала. Однажды, проводя студенческие каникулы в Юрмале, я купила приставку и немного пластинок. С трудом дождалась возвращения в Москву и... начала новую жизнь. Фортепианные концерты Шопена заслушала до того, что пластинка стала шипеть, а игла подпрыгивать. Принялась за третий фортепианный концерт Рахманинова. Помню весенний день 58-го года: мы с подружкой готовимся у меня дома к сессии. Звучит уже заигранный Рахманинов, на столе, в освещенном солнцем граненом стакане - тополиная ветка. И снова показалось, что все это - позывные другого бытия, другого измерения. Вернее, показалось то, что плохо поддается описанию. Но раз уж взялась писать, то обязана заполнить весь лист, не оставляя пропусков и пробелов.

Позывные звучали все чаще и требовали от меня Бог весть чего. Синие контуры домов и деревьев, в сумерки закатное солнце, вспыхнувшее во множестве окон, запах старых книг в хранилище библиотеки, куда однажды попала, начало си бемоль минорной сонаты Шопена, улыбка Кабирии в фильме Феллини - всюду таинственные знаки, которые подавала мне жизнь. Как ответить на них и чем? Потребность и неумение ответить порождали тоску и сердечную боль. И наконец появились стихи. Пока писала все было хорошо, но едва переставала писать, тоска возвращалась с удесятенной силой. Я отлично понимала всю нелепость такой жизни. Восемь неловких строк не есть адекватный ответ на загадочные позывные и не могут быть оправданием существования. И не стоит умирать, если не пишу. И все-таки вновь умирала и вновь воскресала.

Одновременно с этим шла обыкновенная жизнь: окончание школы в год I-го Всемирного фестиваля молодежи, поступление в институт, поездка на целину, замужество, работа в школе. Нет, я не хотела быть учителем, понимая, что школа заберет все время и всю душу. Я хотела писать. И только. Но так вышло, что, не поступив в Университет на фил.фак., я чудом успела сдать документы в Ин.яз., и попала на педагогический факультет (на переводческий девочек не брали). Когда я окончила институт, меня направили в английскую спец.школу, где полагалось отработать два года. Я видела как работают учителя, влюбленные в свое дело, и, зная, что так не смогу, чувствовала себя преступницей. Но уйти не могла - не отпускали. Слава Богу, через год завуч Ольга Константиновна, которой я откровенно призналась, что хочу писать стихи, а не учительствовать, сумела договориться в РОНО, чтоб мне дали "вольную". Ура! Свобода! Я устроилась преподавателем на вечерние курсы иностранных языков. Учить взрослых - это совсем другое дело. Это мне даже нравилось. Я выдумывала интересные приемы, готовилась к урокам, покупала разную методическую литературу. А утро оставила для стихов.

Странно вспоминать, как я жила. Большая комната на Кропоткинской в коммуналке. На столе кастрюля с супом, который мой муж Боря, за неимением ничего другого, ел на завтрак. Незастеленная постель, где валяюсь я, пытаюсь что-то сочинять и записывать. На подушке - журналы, книги. Попишу, почитаю, снова попишу. В этой же квартире жили Борина тетя Ольга Владимировна с сыном-художником. Его картины - ромашки, каллы, девушка в красном - висели по стенам нашей комнаты. Однажды Ольга Владимировна, войдя в комнату и увидев меня возлежащей посреди полного разгрома и хаоса, стала сердито выговаривать мне: "Ну что это, девочка, хоть бы котлет нажарила и комнату убрала. Ну нельзя же так, в самом деле. Надо нормально жить и порядок навести какой-то. Нельзя же так." Если бы она знала, что со мной творилось. Я тянула из себя строки, потому что боялась потерять то сказочное ощущение полноты жизни, которое возникало, когда писала. Оно исчезало буквально на следующий день. Стихи, написанные вчера, уже не утешали сегодня. Тем более, что они переставали нравиться, и надо было снова прислушиваться к себе и тянуть из себя строки. Я боялась потратить секунду драгоценного времени на что-нибудь, кроме стихов, и одновременно страшилась этих часов, которые могли кончиться ничем, полным фиаско, что чаще всего и случалось. И тогда я шла на свои вечерние курсы разбитая и подавленная. Утренняя неудача принимала глобальные размеры. Мир терял свою

таинственность, казался плоским и будничным. Сумерки наводили тоску. Я чувствовала себя бездарной и конченной.

Тогда же, в начале 60-х я стала ходить на литобъединение при многотиражке “Знамя строителя”. Привел меня Вадим Ковда. Собирались по четвергам на Сретенке, в Даевом переулке. Занятия вел поэт Эдуард Иодковский. Иногда он приглашал к нам гостей. Приходили Лев Шилов, Генрих Сапгир. Был у нас и Дудинцев, чей правдивый роман “Не хлебом единым” наделал тогда много шума. Роман ругали в прессе, им зачитывались, его рвали из рук. Наши студийцы засыпали Дудинцева вопросами. Кто-то пришлый задал ему вопрос “с подковыкой”. Дудинцев помолчал и грустно спросил: “Зачем Вам моя кровь?” Он выглядел усталым, говорил тихо, медленно, внимательно слушал стихи. “Это пока еще гаммы, но сыгранные бегло, чистенько”, - сказал он о ком-то. “А это уже этюды”, - отозвался он о стихах молодого человека, сравнившего лес с роялем или рояль с лесом, в котором белые и черные стволы, похожи на белые и черные клавиши.

Читал стихи немолодой учитель сельской школы Александр Дождиков, о котором говорили, что несколько лет назад он потерял жену и ребенка, живет один, писать начал совсем недавно и приезжает на наше литобъединение, бог знает откуда. Дождиков читал неторопливо, задумчиво, глядя куда-то вдаль и отбивая такт рукой:

Тяжело бытовать при Батые.

При Батые законы крутые.

А законники - конники, конники.

Дудинцев заволновался: “О, вот это матерый волк. Это силища.” Миловидная, юная Зиночка Палванова прошелестела трогательные строки об осени: “Приметы осени щемящи, как захворавшие щенята”, о любви и разлуке: “Дай мне, дай мне такую визу, Я в тумане тебя не вижу...” Завсегдатаем нашего литобъединения был строитель Мартынюк, который часто провожал меня домой и душил стихами. Голос у него был зычный, стихи энергичные, крепкие: “Лезу, братцы, лезу. Лезу по железу...” - писал он о работе на подъемном кране. И еще: “Старый голубь о юности плачет...” Ни Мартынюка, ни его стихов я больше никогда нигде не встречала. На четвергах бывал Зугман, врач-рентгенолог, умерший лет пятнадцать назад. Стихов его совсем не помню, но помню, как прочитав мое стихотворение на какую-то запретную даже по тем “оттепельным” временам тему, сказал: “Честные стихи в корзину.” Однажды на литобъединении появился ироничный, остроумный и доброжелательный молодой человек. Он всегда влопад и совершенно беззлобно комментировал происходящее, а когда смеялся, снимал очки и вытирал слезы. “Можно мне показать Вам мои стихи?” - спросила я, подойдя к нему впервые. “Да, конечно, - с готовностью отозвался он, - Приезжайте в воскресенье.” “А можно приехать с мужем?” Молодой человек засмеялся: “Приезжайте с кем хотите.” Так началась моя дружба с Феликсом Розинером, поэтом, прозаиком, музыковедом. Тогда в 64-м он работал инженером в Акустическом институте и писал стихи. Его манера была совершенно иной, чем у меня. Менее традиционной, более необычной или, как принято говорить, новаторской. Феликс обладал замечательным свойством внимательно и заинтересованно слушать чужие стихи, думать над ними, говорить о них. Благодаря ему, я перестала слишком уплотнять строку, в стихах появился воздух. Феликс читал все, что я писала. Лишь одобренные им строки получали право считаться стихами. Он являлся как бы моим ОТК. “Казнит или милует?” - гадала я, оправляясь к нему в Черемушки с очередной партией стихов. И если “миловал”, летела домой на крыльях, а если “казнил”, то еле ползла. Так и жила, раскачиваясь на гигантских качелях “между жизнью лучшей самой и совсем невыносимой.” Мои самые первые читатели - строгий и неподкупный Боря и все одобряющая мама, которая гордилась тем, что пишу стихи, но боялась, что отнесусь к этому слишком серьезно и испорчу себе жизнь, забросив дом, семью, работу. Едва я

начала писать, она повела меня к Михаилу Матусовскому, с которым в середине тридцатых училась вместе в Литературном институте. Не помню, как он отнесся к стихам, но помню, что спросил, почему их так мало и есть ли еще. Мама, опередив меня, ответила, что я уничтожаю все, что считаю негодным и у меня всегда остается двенадцать стихов. Она явно хотела, чтоб Матусовский отметил мою требовательность к себе и умилился числу 12. А я испытывала неловкость, что с такой малостью пришла к маститому поэту.

Долгие годы мама дружила с Виктором Ефимовичем Ардовым. Мы часто бывали у него на Ордынке, а он у нас а Полянке. Однажды те же (а, может другие) двенадцать стихов легли к нему на стол. Он их прочитал, сказал в своей шуточной манере “ничаво” и размашисто написал на клочке бумаги, который приколот к стихам: “Преображенскому, в Юность. Сережа, по-моему, мило. Почитай, а?” Через несколько дней я пришла в “Юность”. Тот, с кем я говорила (вряд ли это был Преображенский), полистал мои стихи и сказал: “Сейчас пишут все. Писать надо знаете как-будто бьете поддых, чтоб прочел - и дыхание прервалось.” Я собрала свои листочки и побрела домой. Поддых не получалось. “Полосой неудач, полосой неудач Вдоль ослепших окон заколоченных дач...” Разве это поддых? И кому все это надо? Мне-то надо. Я без этого не понимаю, что происходит со мной и вокруг. Но если это надо только мне и никому больше, то стихи ли это? И я продолжала бродить по Москве с записной книжкой и ручкой в кармане, читать стихи Боре и Феликсу, ходить на четверги к Иодковскому, на литобъединение “Магистраль” к Григорию Михайловичу Левину.

При ЦДЛ существовала комиссия по работе с молодыми, которая устраивала семинары, чтения, обсуждения, прослушивания молодых. Активнее других нами занимались Лидия Борисовна Либединская, Нина Бялосинская и, по-моему, Николай Панов. На одном из семинаров выступал раскованный и остроумный Аронов, худой и спортивный Юдахин, чья манера чтения немного напоминала евтушенковскую. Читала свои детские и взрослые стихи Галина Демькина. Запомнились ее строчки о поезде, который ехал “мимо дома, мимо дыма, мимо мило и любимо...” Как-то раз Борис Слуцкий представил участникам семинара Кима и Ковалю. Сперва они пели под гитару собственные песни, а потом Коваль показывал свои картины, которые, к сожалению, плохо помню. Кажется, они были очень красочными и отнюдь не традиционными, что привело в ярость даму, сидевшую рядом со мной. Некоторое время она тихо возмущалась, а когда ее терпение лопнуло, встала и произнесла обличительную речь с массой нелестных эпитетов в адрес художника. Ее тираду прервал старый писатель Рахтанов, который, вынув изо рта свою вечную трубку, негромко сказал: “Его картины очень красивы. Мадам, вы дура.” Женщина задохнулась от негодования и вышла, хлопнув дверью.

Однажды “молодых”, среди которых было немало людей в возрасте, собрали в просторной 8-й комнате Дома литераторов. Послушать нас пришли прозаики, поэты, критики. Рядом со мной сидели Феликс Розинер и Юра Денисов. Не помню кто и что читал. Меня мутило от страха. Я мечтала лишь о том, чтоб это вечер поскорей кончился. Наконец, очередь дошла до меня. Я прочла несколько стихов, почти не слыша собственного голоса, и села на место. Юра Денисов одобрительно покивал, а Феликс шепнул: “Молодец!” Я была наверху блаженства: все позади, да еще одобрено ближними. Но самое страшное оказалось впереди. Началось обсуждение. Говорили о тех, кто читал до меня, и о тех, кто после, о сидящих справа и сидящих слева. Обо мне - ни слова. Я застыла с натянутой улыбкой. Феликс то и дело на меня поглядывал. Дискуссия становилась все более оживленной. Начались споры, выкрики с места. Кто-то читал по второму заходу. Шла бурная жизнь, из которой я незаметно выпала. Вечер кончился поздно. Всю дорогу Феликс старался меня развлечь, непрерывно острил и смеялся. Зашел ко мне домой и в шуточной манере рассказал все Боре, который конечно же понял, что со мной творится. Я провела бессонную ночь. Прошло немало времени прежде чем острота исчезла. Наверное, кот-то, прочтя такое, пожмет плечами и подумает: “Ах, ребе, мне-бы Ваши заботы.” Но дело в том, что неверие в свои силы,

ощущение своей малости уживалось в душе с тайной верой в необходимость и силу своих стихов. С одной стороны, я могла легко поверить, что стихи слабы и недостойны внимания. С другой - была готова к чуду-сочувствию, восторгу. Произошло самое плохое: меня не ругали и не хвалили. Просто не заметили. Феликс уверял, что это случайность, что он видел как меня слушали. Но я-то знала, что хуже не бывает. Однако жизнь продолжалась. И было утро. И был вечер. И были новые стихи. И была встреча с Арсением Тарковским, занятия в его студии и тот невероятный день, когда он прочел мои стихи и написал мне письмо, которое просил не выбрасывать (замечательная просьба!). Помню, как той же весной я встретила возле ЦДЛ Зину Палванову. "Слышала, что Тарковский очень хвалил твои стихи. Счастливая", - сказала она. Да, я была счастлива, но и напугана. Ведь он хвалил мои прошлые стихи. А что я стою сегодня? Напишу ли я еще хоть единую строчку?

В 68-м году родился сын. Свободного времени становилось все меньше. Я буквально отвоевывала у жизни каждый час для стихов. А вернее сказать, для одиночества. И еще вернее, для одинокой прогулки. Я выходила из дома часов в шесть утра и шла по слабо освещенному фонарями Ростокинскому городку, где мы тогда жили. В кармане авоська, блокнот и карандаш. Молочная откроется в 7-м, а до семи свободна. Можно идти и идти, глядя на снующий вокруг фонаря снег, слушая голоса и шаги прохожих. И неизвестно откуда возникали стихи:

Ни горечь, ни восторг, ни гнев  
И ни тепло прикосновений,  
Лишь контуры домов, дерев,  
Дорог, событий и явлений...

Этот предрассветный час был самым насыщенным, значительным временем жизни. В этот час воздух чист, снега не тронуты, голоса тихи, мысли ясны.

В 71-м году поэт Сергей Дрофенко пригласил меня в "Юность", где он был зав. отделом поэзии и предложил участвовать в совещании молодых литераторов. Совещание проходило в Москве и длилось пять дней. За эти пять дней я потеряла пять килограммов. Во мне осталось 49, и я слегка качалась от слабости. Мне всегда было очень страшно выносить на суд стихи. По закону свинства мне выпало читать самой последней в последний пятый день. Всех участников семинара распинали на моих глазах: Леню Латынина, Люду Мигдалову, Сашу Тихомирова, Лешу Королева. Одних ругали больше, других меньше, некоторых хвалили. Но все равно были судьи-руководители семинара (поэты Василий Казин, Василий Субботин, Владимир Соколов), свидетели обвинения, свидетели защиты и подсудимый поэт, который отважно или робко читал стихи и обреченно выслушивал приговор. Четыре дня я сидела в зале, а на пятый предстала перед судом. Я прочла десять стихотворений и получила единодушное одобрение. Меня не ругали даже те, кто всегда и всех ругал. Один из участников семинара сказал: "Мы, наверное, так долго всех бранили, что устали. Оттого и хвалим." Может, и так. Но это был триумф. После семинара ко мне подошел талантливый и добрый Саша Тихомиров и, обняв за плечи, ласково сказал: "Солнышко русской поэзии." И пусть моя первая книга вышла лишь через шесть лет, а вторая еще через десять, но у меня есть письмо Арсения Тарковского и удивительные дни 71-го года.

Тогда же я познакомилась с Николаем Васильевичем Панченко, замечательным поэтом, руководителем другого поэтического семинара на том же совещании. Владимир Соколов прочел ему мои стихи и Николай Васильевич пригласил меня к себе. С тех пор я часто приходила к нему в Крапивенский переулок с новыми стихами. Сказать, что Панченко читал каждое стихотворение внимательно, значит ничего не сказать. Он размышлял над ним, мучился, думал, откладывал и снова к нему возвращался. "Не случилось", - произносил он сокрушенно. И после паузы: "Стихотворение не случилось. Все погибло в третьей строке. В первых двух еще живет,

а дальше - инерция.” Н.В. удивительно улавливал авторскую интонацию и прочитывал именно так, как писал автор. Пока он размышлял над стихами, я разглядывала полутемную, заполненную книгами и тишиной комнату, слушала воркотню голубей за окном, выходящим во двор, и с тревогой следила за выражением его лица, пытаюсь угадать, что он думает. Наши встречи всегда строились одинаково. Панченко читал мои стихи, мы подробно о них говорили. Иногда разговор уходил в сторону и снова возвращался к стихам. Но я никогда не спрашивала его над чем работает он сам, не просила почитать стихи, считая себя ученицей, не смеющей беседовать с мэтром “на равных”. По этой же причине, когда Тарковский читал мне свои новые стихи, я не высказывала вслух своего к ним отношения. Однажды после моего визита позвонила Татьяна Алексеевна: “Ларисочка, Вам что, не нравятся Арсюшины новые стихи?” Я растерялась: “Как? Почему?” “Но Вы ничего не сказали.” С той поры я поняла, что каждому, молодому и старому, безвестному и прославленному - не достает внимания, душевного отклика, а главное, уверенности в себе. “И нам сочувствие дается, как нам дается благодать.” Оглядываясь назад, вижу, что проходила некий путь, пытаюсь найти себя и свое. И еще вижу, что далеко неблагополучный мир, в котором жила, казался почему-то обжитым и домашним. Война, эвакуация в Куйбышев, где я, по рассказам близких, чуть не погибла в яслях от диспепсии, послевоенная убогая московская коммуналка на Полянке, класс, состоящий из пятидесяти девочек, из коих лишь у одной был жив отец; невнятные, приглушенные разговоры, во время которых мелькали малопонятные слова: посадили, космополит, ех поstras, вечно пропадающие на работе взрослые... И все же у меня был ДОМ: длинные зимние вечера, когда бабушка шила из лоскутов одежды для моей куклы, сладкое воскресное утро, когда мама читала мне вслух, праздники, к которым готовились заранее: пекли коржи для “наполеона”, следя, чтоб я не отщипнула слишком много, варили фаршированную рыбу. “Бинечка, сделай вкус”, - кричала из кухни бабушка. И тогда дедушка засучивал рукава рубашки и делал “вкус”, добавляя соль, пряности и нечто известное ему одному и создающее тот необыкновенный аромат, который распространялся по квартире. В понятие ДОМ входили кусты сирени, посаженные когда-то бабушкой во дворе, кучи угля возле котельной, голубятня в соседнем дворе, улицы и переулки, по которым можно было гулять и разговаривать, не повышая голоса, аромат свежего хлеба, доносящийся из соседней булочной “под навесом”, таинственный запах сырого, грибного леса в вестибюле Третьяковки, куда мы, живя неподалеку, часто бегали, звонок трамваев - всех этих “аннушек” и “букашек”, тихие, задумчивые вздохи троллейбуса. Все это называлось МОСКВА. Она еще оставалась такой в 50-60-е годы. По ней хотелось идти пешком. И шли. Из института через парк Сокольники, на Кузнецкий в книжный магазин, на улицу Разина в библиотеку иностранной литературы (вернее, в Разинку), чтоб послушать обзор новинок английской и американской литературы, на Цветной бульвар в студию алексеевской гимнастики. Студия располагалась в школе, рядом с которой прятался во дворе маленький, уютный, типично московский особняк, где некогда жил актер Михаил Щепкин. Я невольно пыталась заглянуть в окна особняка, надеясь увидеть картинки прошлой жизни. Нет, время определенно текло медленнее в те годы. Его хватало и на чтение, и на друзей, и на одинокие прогулки. Не покидало ощущение спиралевидного движения, постепенного роста. Все было исполнено смысла и значения. Вот загадка, которую не могу разгадать: почему в такое отнюдь не вегетарианское время мир представлялся более пригодным для жизни чем сегодня. Ведь и “оттепель” - не пастораль: наши танки в Венгрии и Чехословакии, суды над интеллигенцией, идеологическая кампания, невежество, раболепство, слепота. И все равно постоянно звучал “надежды маленький оркестрик”. А позже все надломилось и рухнуло. Ощущение стабильности сменилось предчувствием близкой катастрофы. Когда я думаю о конце 70-х начале 80-х на ум приходят слова: безысходность, тупик, могильная плита. И одновременно непрерывная гонка, усталость от неподъемного быта, и главное, от невозможности воплотить задуманное. В моем случае, от невозможности выйти к читателю. Когда-то, в начале нашего знакомства Николай

Васильевич Панченко сказал: “Вам не надо суетиться, Ларисочка. У ваших стихов есть ножки.” Увы, все оказалось сложнее и безнадежнее. Грота неизданного росла и росла, грозя обвалом в домашнем масштабе. Стихи, как дети, которые со временем должны покидать родителей и жить на своих путях. Узкий круг друзей и близких не спасает положения. Стихи должны выходить в мир к НЕИЗВЕСТНОМУ читателю и жить своей, НЕВЕДОМОЙ поэту, жизнью. Пыльные папки на шкафах, столах и полках - не жизнь, а кладбище стихов. Строки, строки, строки. С кем говорю? Зачем пишу? Выходит, мой путь лежал от одного “зачем” к другому. А сегодня в 90-м и подавно не до стихов. Можно ли расслышать стихотворную строку в надсадной какофонии: рынок, демократия, дефицит, коммерция, милосердие, погромы, омонцовцы, храм. Город, в котором живу, превратился в пустыню. Все в дефиците - воздух, еда, одежда, тишина, покой, радость. Унылые стены домов оклеены объявлениями, призывающими записаться в группу ушу, на блиц-курсы иностранных языков, посетить видео салон и помочь найти собаку. “Пропала собака, - вопиют стены города, - рыжая, черная, палева. Помогите найти. Звонить по телефону... Вознаграждение гарантируем.” Помогите, мы тоже пропали, и бездомные, бесхозные мечемся по призрачному городу при тусклом свете редких фонарей. Никогда еще мир не казался мне столь агрессивно-назойливым, взвинченным, неустроенным, угрюмым. Никогда еще не навязывал себя с такой яростью, лишая права на тишину и суверенность. Никогда еще я не чувствовала такой подключенности к абсурдным, жестоким, горьким и кровавым событиям сегодняшнего дня. Никогда еще мое занятие не казалось мне таким бессмысленным и ненужным.

Разговоры о музыке с Тарковским, чтение стихов Николаю Васильевичу Панченко, многочасовая прогулка с Григорием Левиным, шумные литобъединения, неторопливое чтение книг, всегда необходимых, всегда появлявшихся на моем столе во время - все кажется несбыточным и невозможным сегодня. Неужели эта больная жизнь является естественным продолжением прежней? Неужели ПУТЬ продолжается и куда-то ведет? Неужели и это провальное время “не на погибель нам дано, а во спасенье?”

1991

\* \* \*

Осенний ветер гонит лист и ствол качает.  
Не полегчало коль еще, то полегчает.  
Вот только птица пролетит и ствол качнется,  
И полегчает, наконец, душа очнется.  
Душа очнется, наконец, и боль отпустит.  
И станет слышен вещий глас в древесном хрусте  
И в шелестении листвы. Под этой сенью  
Не на погибель все дано, а во спасенье.

1978

\* \* \*

Ни горечь, ни восторг, ни гнев  
И ни тепло прикосновений.  
Лишь контуры домов, деревьев,  
Дорог, событий и явлений.  
У тех едва заметных рек,  
Тех еле видимых излучин  
Еще и не был человек  
Судьбою и собой измучен.  
И линией волосяной  
Бесплотный гений лишь наметил  
Мир, что наполнен тишиной,  
Без шепота и междометий.  
Да будут легкими штрихи,  
Да будет вечным абрис нежный  
И да не знать бы им руки,  
Излишне пылкой иль прилежной.  
Да научиться бы войти  
В единый мир в час ранней рани,  
Не покалеча по пути  
Ни малой черточки, ни грани.

1971

\* \* \*

Лететь, без усталости скользить  
По золотому коридору  
И путеводна в эту пору  
Осенней паутины нить.  
И путеводен луч скупой  
И путеводен лист летучий.  
И так живётся, будто случай  
Уже не властен над судьбой.  
Принесена с лихвою дань  
Страстям, превратностям, порывам.  
И если держит терпеливо  
Своих детей земная длань,  
То, значит, существует час,  
В который то должно свершиться,  
Что превращает в лики лица  
И над судьбой подьёмлет нас.

1973

## СЛОВО О БИБЛИОТЕКЕ

Первый раз я пришла сюда в начале пятидесятых. Помню, как радовалась мама, что наш друг - писатель Алексей Никандрович Новиков (автор сочинений о Глинке) разрешил ей брать в библиотеке Союза Писателей книги на его имя. Дядя Леша и его жена тетя Лиза - добрые волшебники моего детства. Они с таким вниманием и сочувствием слушали мои первые опусы (а тетя Лиза даже со слезами на глазах), что я в ожидании встречи с ними жила по принципу: "Ни дня без строчки". Поход к Новиковым всегда был Событием. Я уходила от них обласканная, окрыленная, с кучей свежих сюжетов, придуманных мной с дядилешиной помощью. Однажды, прощаясь с ним, я обвила рукой его шею и воскликнула: "Я Вас люблю блаженски!" Каково же было мое потрясение, когда дядя Леша, даря нам с мамой свою только что вышедшую из печати книгу, открыл ее на той странице, где маленькая Катя Керн говорит Глинке: "Я Вас люблю блаженски!" Так я попала в литературу. Естественно, что именно он, дядя Леша, подарил мне и ЭТОТ памятный мир моего детства - писательскую библиотеку. Каждый раз, когда мама шла сюда, я увязывалась за ней. Мне нравилось все - тихая улица, шикарный особняк, тяжелые неподдающиеся дубовые двери с витыми металлическими ручками, крытые ковром ступени, ведущие вниз в гардероб, где стояло туманное зеркало и пахло одеколоном (по-моему, одно время рядом с гардеробом находилась парикмахерская, где работал маленький, лысый, легендарный мужской мастер). Мне нравилось, что из мощного помпезного вестибюля, в котором никогда не хотелось задерживаться, можно было нырнуть в едва заметную дверцу и оказаться у подножия узкой винтовой лестницы. Пролет, еще пролет, и ты в царстве книг, от запаха и обилия которых кружится голова. Пока мама заказывала нужную литературу, я, терзаемая проблемой выбора, рылась в книгах: какую взять - зачитанную, лохматую с чернобелыми картинками или новенькую, яркую, пахнущую свежей типографской краской? Чаще всего выбор падал на старую. Она казалась "аппетитней". Помню, как набредя на "Маленького оборвыша", я вцепилась в него и не желала выпускать из рук даже тогда, когда библиотекарь хотела оформить карточку. Библиотекарей помню всех. Кого по имени, кого и в лицо. Помню чрезвычайно вежливую, обходительную хозяйку читальни. Помню строгую, красивую Аду, помню как появилась молоденькая, стройная белолицая с румянцем со всю щеку Люся. Однажды, придя в библиотеку, мама увидела, что книги выдает ее давняя знакомая Лия Наппельбаум, с которой она не то вместе училась в Лит. институте, не то работала на радио. Лия рассказала, что пишет стихи и считает, что ей повезло с работой: кругом писатели и книги. Много позже, когда я снова впала в грех сочинительства, почти изжитый в отроческие годы, Лия пригласила меня к себе домой на Проспект Мира. Мы сидели в ее огромной квартире, стены которой были увешаны фотопортретами, сделанными ее отцом - знаменитым фотографом, и читали друг другу стихи. В 60-е годы поход в библиотеку часто служил для меня источником вдохновения. Именно в библиотеку, а не в ЦДЛ, где я всегда чувствовала себя не в своей тарелке. Я любила идти по Воровского от Арбатской площади, проходить мимо Гнесинки, из окон которой всегда доносилась музыка. Любила, придя в библиотеку, сидеть в читальном зале и листать свежие журналы, дожидаясь пока выполнят мой заказ. Единственно, что я не любила, это подозрительные взгляды и окрики служителей, сидящих в вестибюле у дверей, ведущих в ресторан. "Вы куда?" - раздавалось в спину. "В библиотеку", - отвечала я, поспешно скрываясь за спасительной дверцей.

В 79-м наши романтические отношения с библиотекой были наконец-то узаконены: я вступила в Союз писателей. Много воды утекло с тех пор, многое неузнаваемо изменилось в нашей жизни, но одно - неизменно: я в вечном долгу перед библиотекой. Причем, в самом буквальном значении этого слова. В новые времена, как и прежде, у меня на полке то и дело появляется стопка книг, которые давно пора вернуть. Сегодня такая стопка лежит на столе у сына. Дурно, конечно, задерживать книги. Еще Маршак, уча детей вежливости, писал (за точность не ручаюсь): "Надо, чтоб в библиотеке, Книги

брал ты не навеки.” И все же мысль, что библиотека жива и нужна, и мы у нее по-прежнему в долгу, греет душу. Значит, не все еще потеряно, и связь времен не порвана окончательно.

1995

\* \* \*

Мемуары, флер и дымка.  
Тайна выцветшего снимка.  
Дни текли, года летели,  
Было все на самом деле  
Прозаичнее и жестче,  
И циничнее, и проще,  
И сложнее, и несуразней,  
В сотни раз многообразней.  
Ну а память любит дымку,  
Снимок тот, где все в обнимку.  
Там скруглила, там смягчила,  
Кое-где слезой смочила,  
Кое-где ошиблась в дате,  
А в итоге, в результате  
Обработки столь коварной  
У бывшего - вид товарный.

1990

\* \* \*

Люблю начало речи плавной,  
Причуды буквицы заглавной,  
С которой начинают сказ:  
“Вот жили-были как-то раз...”

Гляжу на букву прописную,  
Похожую на глушь лесную:  
Она крупна и зелена,  
Чудным зверьем населена.

“Вот жили-были...” Запятая,  
И снова медленно читаю:  
“Вот жили...” И на слово “Вот”  
Опять гляжу, разинув рот.

1981

## VI. ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ

Так и маемся на воле.  
Как бездомные,  
То простые мучат боли.  
То фантомные.

Ломит голову к ненастью,  
В сердце колики...  
Сядем, братья по несчастью,  
Сдвинем столики.

Сдвинем столики и будем  
Петь застольную,  
Подарив себе и людям  
Песню вольную,

Все болезненное, злое  
И дремучее,  
Переплавив в неземное  
И певучее.

## УПОЕНИЕ ЗАРАЗТЕЛЬНО

О Лидии Корнеевне Чуковской можно говорить, как о писателе, авторе замечательных записок об А.А. Ахматовой, повестей “Спуск под воду”, “Софья Петровна”, как о поэте, недавно выпустившем свой первый! стихотворный сборник. Можно говорить о ней, как о яркой личности, о мужественном и чистом человеке, не промолчавшем тогда, когда молчали другие.

Я же в своей небольшой заметке хочу коснуться лишь одной, быть может, не самой существенной, но бесконечно для меня дорогой стороны ее личности. Я хочу говорить о ней, как о ЧИТАТЕЛЕ.

Знаете кто в наше свихнутое время ВСЕ ЕЩЕ ЧИТАЕТ, читает в самом старомодном значении этого слова - неторопливо, вдумчиво, с полной отдачей? Очень старый и почти слепой (несколько операций на глаза) человек. Может быть, сегодня ей уже и сильная лупа не помогает и остается только просить близких почитать вслух, но еще совсем недавно Л.К. читала сама, тратя на это остатки зрения и сил, необходимых для писательского труда. По словам Елены Цезаревны - дочери Л.К., на тумбочке возле ее кровати постоянно вырастает груда книг, ждущих своей очереди. И очередь обычно доходит. Наверное, многие пишущие могут рассказать, как щедро откликнулась Лидия Корнеевна на подаренные ей книги.

В 91-м году у меня вышел небольшой сборник стихов и прозы. Л.К.Чуковская отозвалась одна из первых. Разговор был содержательным, долгим и, что меня особенно поразило, начался со стихов. Лидия Корнеевна все еще находится в сильно поредевших рядах читателей поэзии. Она сказала мне, что, открывая новую журнальную книжку, прежде всего прочитывает все стихотворные подборки. Услышав такое, я тотчас же вспомнила те страницы из ее книги Памяти детства, где речь идет о Куоккольской морской прогулке с отцом - Корнеем Ивановичем Чуковским:

“И здесь на Финском заливе ясный солнечный день, мерные взмахи весел, ожидающие лица детей рождали в нем жажду читать стихи. Жажда эта жила в нем неутолимо: поэзия смолоду и до последнего дня была для него неиссякаемым источником наслаждения. Стихи он читал постоянно и всегда вслух: себе самому, один на один, у

себя в кабинете, Репину в мастерской и репинским гостям в беседке; заходим студентам на песке у моря; друзьям-соседям: Николаю Федоровичу Анненскому, Татьяне Александровне Богданович и Короленко, нам по дороге на почту. И уж конечно в море. Тут, в море, он давал полную волю. Ритм волн и ритм гребли естественно выманивали в ответ ритмический отклик.

Никогда я не слышала чтения более пленительного. Как будто все черты его личности собирались в эти минуты в голосе, в интонациях, в губах, которые льнули к звукам, в звуках, которые льнули к губам.

... В голосе его, когда он читал великую лирику, появлялось некое колдовство, захватывающее его и нас. На страницах своих сочинений он не раз говорит, что смолоду привык “упиваться стихами”. Упоение заразительно. Наверное, потому мы и упивались, слушая, что он упивается, произнося. И все стихи, которые я узнала потом, одна, сама, без него, звучание всех на свете стихотворных строчек, кто бы их не произносил, навсегда связаны для меня с моим детством и его голосом.”

Привожу эту длинную цитату с тоской в сердце и завистью к тем временам, когда людей, “упивающихся стихами”, еще не требовалось заносить в красную книгу. Уолт Уитмен сказал, что там, где существует великая поэзия, непременно существует великий читатель. В России всегда было именно так. Что будет дальше, покажет время. И, может быть, присутствие на земле человека, которому (по собственному выражению Л.К. Чуковской) “труднее позабыть стихи, чем их помнить”, есть гарантия того, что еще не все потеряно и упоение действительно заразительно.

1994

## ПЕЧАЛЬНОЕ РАВНОВЕСИЕ

ПОМНИТЕ миниатюру Жванецкого “Трудности кино”? Там, в частности, говорится о том, как трудно в наше время снять достоверный фильм, в котором действуют аристократы. “Фрак народ носить разучился... Аристократизм в Петербурге пока не идет. Или там собственное достоинство, вот эта неприкасаемость личности... Но с уходом стариков со сцены и из зала равновесие между экраном и зрителем постепенно восстанавливается”. Похоже, оно и впрямь восстанавливается, и уже почти забыто, как было.

В Книжном обозрении за 16 июля прошлого года помещена моя статья “За тех, кто в море”. Позволю себе процитировать из нее небольшой абзац: “Цеховая жизнь литературы почти полностью прекратилась. Огромная и все еще читающая страна осталась без подлинно литературной критики... А ведь бывали и другие времена. В академическом издании сборника Мандельштама Камень помещены рецензии на его книгу, появившиеся в тогдашней прессе. Я насчитала ВОСЕМНАДЦАТЬ рецензий на второе издание Камня (1915 г.)”.

Думаю, это не исключение, а норма той жизни. Как и многочисленные литературные собрания, философские кружки, поэтические вечера, крупные и мелкие издательства, студии при них. “Преобладали темы по философии истории и философии культуры”, - пишет Бердяев в “Самопознании”, рассказывая о вторниках в его доме в Малом Власьевском переулке в Москве. “Иногда набивалось в нашу гостиную такое количество людей, что она не вмещала, и приходилось сидеть в соседней комнате”. Речь идет о 20-м годе, времени красного террора и тяжелого продовольственного кризиса. Кроме домашних встреч, были и другие. В Лавке писателей, например. “Лавка превратилась в литературный центр, где все встречались, во что-то вроде клуба”, - пишет Бердяев. Все эти кружки, клубы, издательства продержались до конца 20-х. Так было не только в России. В замечательной книге новозеландского писателя Брайена Бойда о Вл. Набокове говорится, что русский Берлин 21-24-го годов был культурным

центром, не имеющим аналогов в истории эмиграции. Несколько сотен тысяч эмигрантов из России, поселившихся в Берлине, и без того богатом книгами и периодикой, сумели менее чем за три года напечатать столько литературы, сколько большинство стран не издавало и за десятилетие. На чужбине возникли литературные кружки, вечера, философские клубы - все то, без чего российская интеллигенция себя не мыслила.

Летом 88-го года, снимая дачу в Переделкине, я прослышала о четвергах, неожиданно возникших в переделкинском Доме творчества. Их устраивала незадолго перед тем вернувшаяся из эмиграции поэтесса Ирина Одоевцева. Она по старой памяти полагала, что писателям необходимо встречаться, чтоб потолковать о литературе, почитать друг другу написанное. Тот четверг, на который попала я, проходил в фойе нового корпуса, в котором жила Одоевцева. Собралось человек тридцать-сорок. В основном литераторы. Вечер был посвящен Георгию Иванову. Приглашенные Одоевцевой молодые артисты читали стихи и прозу Иванова, потом говорила она сама. Говорила удивительно живо, несмотря на возраст и инвалидное кресло. Когда программа завершилась и наступило время свободной дискуссии, воцарилась тягостная тишина, которую не решился нарушить никто из сидящих в зале. Присутствие Одоевцевой, чуть ли не последнего представителя реликтового племени "стариков", которые почти ушли "со сцены и из зала", с беспощадной наглядностью продемонстрировало одно: мы катастрофически разучились общаться. Я имею в виду не интеллигентскую болтовню и обмен анекдотами, а плодотворную, содержательную беседу, умение поддержать и развить тему, почитать стихи без страха оказаться "белой вороной".

Я говорю все это вовсе не из желания лишней раз посамобичеваться, а лишь затем, чтоб постараться общими усилиями не допустить того печального равновесия, о котором сказано в вышеупомянутой миниатюре Жванецкого. Неумение общаться означает ОТСУТСТВИЕ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ, которая немыслима без диалога, живой беседы, подлинной, бескорыстной заинтересованности друг в друге, без того порыва, который заставил Некрасова и Григоровича примчаться в полчетвертого утра к молодому Достоевскому, чтобы расцеловать его за повесть "Бедные люди"; без той радости, которая продиктовала Волошину рецензию на первый сборник юной Марины Цветаевой и привела его к ней в гости для знакомства и разговора.

Живая реакция случалась и на моей памяти. Более тридцати лет назад мой друг поэт Александр Радковский, проходивший тогда службу в армии, регулярно получал в ответ на свои первые стихотворные опыты письменные отклики старого мэтра Павла Антокольского. Знаю, какую роль они сыграли в его жизни. Читала, с каким нетерпением ждал Самуил Маршак новых стихов Новеллы Матвеевой и как, дождавшись и предвкушая чтение, приплясывал и потирал от удовольствия руки. Да и сама я как величайшую драгоценность храню письма Арсения Тарковского; короткий, но горячий отклик на мою первую книгу Д. Самойлова; многочисленные торопливые, но невероятно живые открытки ленинградского профессора В.А. Мануйлова. Все названные мной ушли из жизни, и с их уходом исчезла эпоха. Это вовсе не значит, что не осталось людей увлеченных, неравнодушных, отзывчивых, но среда - это не одиночки, а целые слои общества, для которых культура - воздух, хлеб насущный. В наш компьютерно-телевизионный век некоммуникабельность стала мировой проблемой. На смену истинно калорийному общению пришел обмен ничего не значащими клише (условно назову это западным вариантом) или утомительное - ни уму ни сердцу - застолье с многочасовым, весьма сумбурным разговором, к тому же нередко заглушаемым орущим телевизором. Этим летом знакомый кинорежиссер пригласил меня к себе, чтоб показать картины своей двадцатилетней дочери, которая учится дизайну. Я спросила, бывают ли в ее училище выставки студенческих работ. "Нет", - ответил он. "Как? - удивилась я. - Разве студенты не смотрят работы друг друга?" Он неуверенно пожал плечами. А я невольно вспомнила давний, начала шестидесятых, эпизод, когда мой добрый знакомый, ныне покойный Борис Николаевич

Симолин, преподаватель ГИТИСа, будучи весьма пожилым человеком, приехал через всю Москву посмотреть работы нашего друга - молодого художника Максима Дубаха. Ему, старику, БЫЛО ИНТЕРЕСНО.

ЧТО ЖЕ делать? Как реанимировать нашу жизнь? Ведь пройдет еще немного времени - и Эллочка-людоедка, чей словарь насчитывал всего тридцать слов, покажется Цицероном на фоне тех, кому достаточно одного-единственного, пригодного для всех случаев жизни, емкого словечка "НОРМАЛЬНО".

Я не работник просвещения, а лишь заинтересованное лицо. Мои советы - советы дилетанта, и все же осмеливаюсь внести предложение.

Следует, по-моему, вернуть в школьные программы УРОКИ РИТОРИКИ, ДЕКЛАМАЦИИ, которые когда-то существовали в гимназиях. Умение выражать свои мысли, защищать свою точку зрения, уважая оппонента, а главное, привычка читать вслух стихи и прозу (необязательно наизусть, можно и по книге) - неотъемлемый элемент культуры, без которого мы всегда будем испытывать комплекс неполноценности, как на журфиксе Одоевцевой.

У меня в четвертом классе была замечательная учительница литературы Евлалия Станиславовна. Она приучала учеников свободно выражать свои мысли и писать изложения без схемы и плана, как Бог на душу положит. Лишь бы вышло ярко и интересно. Е.С. постоянно читала нам вслух на уроках. Читала негромко, но так артистично, что все сидели не шелохнувшись. А раз в месяц она устраивала конкурс на самое выразительное чтение стихов. Однажды и мне удалось получить премию. Правда, не первую, а вторую. К великому сожалению, Е.С. слишком рано исчезла из моей жизни. Новая учительница за первое же изложение вклеила мне двойку: почему не придерживаюсь плана, почему наплела то, чего нет в тексте?

Нас душили десятилетиями, и реанимацию приходится начинать с нуля. "С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре." Если считать, что наша Родина - русская культура, то она действительно должна начинаться с букваря, с младенчества, со школьной программы.

Понимаю, что не так все просто, и если уроки декламации будет вести тетя, способная поставить двойку за отсутствие плана к сочинению, то проку от занятий будет мало. Скорее, вред один. А много ли других, таких, как моя Евлалия Станиславовна? Уровень школы напрямую связан с уровнем преподавания в педагогических вузах страны и педучилищах (или как их теперь величают - университеты? колледжи?), от того, чем дышат, как общаются те, кто призван учить общению других. Но можно ли чему-то научиться, не имея достойного примера, высокого образца, эталона? Таким эталоном должна служить культурная элита, от которой во многом зависит духовное здоровье общества. Но на сегодняшний день о ней можно сказать одно: врачу - исцелился сам! Где нынче настоящий литературный клуб и во что превратился Дом литераторов, которому надлежит быть таким клубом? Конечно, есть ряд изданий - и старые, и некоторые новые, которые держат планку, но в целом тенденция иная. Достаточно беглого взгляда на прессу, чтоб заметить, что идет некое негласное соревнование на лихость и беспардонность, в котором, к сожалению, участвуют и некоторые серьезные уважаемые издания, стараясь не отстать от "лидера". А лидирует "МК". Кто еще так умеет смаковать подробности убийства психически больным отцом сына с последующим расчленением трупа? Превосходный повод поупражняться в остроумии и пообтачивать журналистское перо. Летом я видела по телевизору, как Андрей Караулов допрашивал с пристрастием главного редактора "МК" Павла Гусева. Когда телекомментатор попенял ему, что газета-де часто не слишком изящно выражается, тот ответил: "Мы говорим на языке улицы. Изменится улица, изменимся мы". Но улица никогда не изменится, если ей станут подыгрывать те, от кого во многом зависит ее психическое здоровье. Сегодня очевидна тенденция к занижению уровня разговора, чем, как уже сказала, болеют и некоторые серьезные издания.

ВОЗРОЖДЕНИЕ культуры, истинного интереса к литературе невозможно без возвращения к ЭСТЕТИЧЕСКОМУ КРИТЕРИЮ. Слишком долго нас от него отучали.

Отсутствие его и есть один из ответов на вопрос, почему в наши дни читают меньше, чем во времена застоя, когда чтение было “ворованным воздухом”, скрытым сопротивлением мертвому тоталитарному режиму. В эпоху гласности подобный мотив отпал и чтение перестало быть насущной потребностью для тех, кто отвык или никогда не умел читать ради эстетического удовольствия. Потому наверное, пользуясь оборотом Жванецкого, и стихи “пока не идут”.

Возрождение эстетического критерия невозможно без мудрых поводырей, без литературных авторитетов. Ума не приложу, почему интересней тратить время и красноречие на злободневность и литературные скандалы, чем на серьезный анализ текущей литературы, новых книг известных, малоизвестных и совсем неизвестных авторов. Назову лишь некоторых из них: первый стихотворный сборник Лидии Чуковской; стихи Зинаиды Миркиной; поэтов моего поколения Ф.Розинера, А.Зорина, А.Радковского, О.Постниковой, Л.Чумакиной, Е.Шуваловой и др.; книги ушедших из жизни М.Самаева, М.Рихтермана и А.Осипова. Каждый из названных мной достоин отдельного разговора, без которого немыслим живой литературный процесс. Я была поражена тем, как хорошо налажена система связи между АВТОРОМ, ИЗДАТЕЛЕМ И ЧИТАТЕЛЕМ в Швеции. Издатель посылает книжную новинку в редакции периодических изданий, которые печатают рецензии. Редакции, в свою очередь, высылают ему копии опубликованных рецензий. Собрав отклики, издатель отправляет их в книжные магазины, которые на основании этого делают заказ. Я вовсе не хочу сказать, что стоит наладить подобные связи - и не станет обойденных и незаслуженно забытых. Но если эти связи не возникнут, то целые поколения писателей опять останутся невостребованными.

Отлично сознаю, что когда в стране развал и хаос, выходят из строя все системы и механизмы. Однако из этого вовсе не следует что “надо годить”. “Времена не выбирают, в них живут и умирают”.

Уже и сейчас есть чему радоваться. Возникли хорошие книжные магазины, торгующие только доброкачественной литературой: “19 октября”, “Ренессанс”, “Путь к себе” и др. У них уже свои покупатели, завсегдатаи, как в старое доброе время. Несколько лет назад стараниями горстки энтузиастов был создан замечательный литературный клуб в Ногинске. Читала, что существует клуб любителей поэзии в Мышкине. Постоянно проводятся литературные вечера в некоторых московских библиотеках, а также в новом музее Марины Цветаевой в Борисоглебском, в музее Маяковского, в Литературном музее на Петровке. И тем не менее до возникновения полноценной литературной жизни еще очень и очень далеко.

В стране, где совсем недавно словосочетание “светлое будущее” было столь привычным для слуха, где еще не успели состариться те, кому Хрущев обещал жизнь при коммунизме, появился новый и весьма мрачный штамп: “Нынешнее общество обречено. Лишь через два, три поколения появятся нормальные люди”. Вот так, из огня да в полымя, кто был ВСЕМ, неожиданно снова стал НИЧЕМ и вместо светлого будущего получил другую перспективу - тот свет.

А может быть, пора без заклинаний и судорог достойно и несуетно жить СЕГОДНЯ? Ведь будущее зависит от каждого текущего мгновения и каждого живущего сейчас.

Живите в доме - и не рухнет дом.  
Я вызову любое из столетий,  
Войду в него и дом построю в нем.  
Вот почему со мною ваши дети  
И жены ваши за одним столом, -  
А стол один и прадеду и внуку:  
Грядущее свершается сейчас,  
И если я приподымаю руку,  
Все пять лучей останутся у вас.  
Арсений Тарковский

ГРЯДУЩЕЕ СВЕРШАЕТСЯ СЕЙЧАС, и от нас зависит, станет ли оно эпохой культурного ренессанса или временем “печального равновесия”, всеобщего беспамятства, когда “наступает глухота паучья”, где “провал сильнее наших сил”.

1994

### “ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ...”

“Знаете, какое редкое это счастье - найти!” - пишет Людмила Петрушевская в рецензии на книгу Асара Эппеля “Травяная улица”. Знаю. Но также знаю, какое редкое счастье, когда тот, кто “нашел”, не жалеет времени и душевных сил, чтоб поделиться своей радостью с другими. И за это я безмерно благодарю автора рецензии. Не останавливаюсь подробно на том, как весело, сердечно, вкусно написана статья (ничего удивительного - это же Петрушевская); не говорю о виновнике торжества. Сообщаю только о самом факте: случилось ЧП - вместо того, чтоб в очередной раз ударить меня пыльным мешком по голове, выбить из-под ног почву, доказав, что все плохо и будет еще хуже, со мной, читателем, поделились радостью. Событие редкое в наши дни. И до чего же нам, оказывается, не хватает внимания, душевного отклика, тепла! “Давайте говорить друг другу комплименты - ведь это все любви счастливые моменты!” И с автором надо поделиться радостью. “Я тут же нашла телефон и позвонила”, - пишет Л.Петрушевская. Часто ли мы откликаемся рецензией, письмом, даже простым звонком? Наш бывший соотечественник литератор Герман Андреев, который сейчас живет в Германии, рассказывает, что отклики на свои публикации получает в основном от эмигрантов первой волны или их потомков. Для них естественно позвонить или написать автору, отозваться на прочитанное. Что же до эмигрантов третьей волны, то они этого, как правило, не делают. Еще бы. Мы ведь все из одной “деревни Гадюкино”, в которой всегда дожди. Причем в “дождях” наших повинен не только и не столько “крокодил” (депутат, демократ, коммунист), который “наше солнце проглотил”, сколько мы сами, эту хмарь породившие и ее оплакивающие. Анализируя происходящее в поэзии, Евгений Рейн пишет: “Общественное значение творческого акта есть произведение, где один сомножитель - собственно творческий акт... а другой - это отголосок, отзыв на него в человеческих сердцах. Наступило время, когда второй сомножитель стал ощутимо падать”. “Почему же умолкло эхо? - спрашивает Рейн. - Потому что изменился воздух?” Проблема сложная. Рискуя сильно ее упростить, хочу задать контрвопрос: а не мы ли сами виноваты в том, что “эхо умолкло”? Не мы ли сами, члены одного литературного цеха, перестали живо и с интересом откликаться на то, что делает собрат по перу? Не мы ли сами породили эту глухоту и теперь обвиняем время и воздух? Можно сетовать на глобальное похолодание, а можно попытаться развести костер. Можно стонать, что нет интереса к поэзии и никто не пишет о текущей продукции, а можно о ней писать. Выудить хоть один из множества сборников, лежащих на полках магазинов “19 октября” или “Гилеи” - и написать о нем. Ведь наверняка среди пустой породы есть самоцветы. И тогда, возможно, не будут приходить в ЛГ письма, подобные тому, что было напечатано в феврале этого года, в котором заведующий бюро пропаганды художественной литературы из Смоленска А.Сергеев упрекает газету и вообще центральную прессу, что на ее страницах тасуются одни и те же имена, в то время как огромное море литературы, издаваемой в провинции, да и по стране в целом, остается незамеченным. Профессиональная критика, умеющая говорить не только об идеях, но и о словесной ткани, о плоти стиха, - вещь замечательная. Разделение труда, когда поэт или прозаик “гонит нетленку”, а критик живо на нее откликается - предел мечтаний. Но если подобное явление - редкость, то надо браться за дело самим. “Начать с себя” - так нас

учили действовать на заре перестройки. Что касается меня (убеждать надо личным примером), то я уже начала: написала несколько заметок о поэтических сборниках малоизвестных поэтов и напечатала их в журнале Огонек в разделе “Книжный шкаф”. Я не берусь писать настоящие рецензии, содержащие серьезный и глубокий анализ (хотя есть поэты, которые это очень квалифицированно делают, и я им завидую), но откликнуться заметкой в полторы машинописных страницы на публикацию или книгу может каждый.

Существует мнение, что трудно напечатать рецензию о малоизвестном авторе. К сожалению, это во многом верно. И все же могу назвать издания, где подобные заметки публикуются: уже упомянутый мной Огонек, Книжное обозрение, журнал Столица, в котором есть раздел рецензий, газета Российские вести и другие. Короче говоря, появится желание откликнуться - найдется и место. Причем я вовсе не предлагаю писать только о том, что нравится, и непременно “говорить друг другу комплименты”. Я предлагаю друг с другом говорить. Всерьез и по существу. Пусть это будет профессиональный критический разбор, но не разборка, не “литературная поножовщина”, по меткому замечанию Г.Померанца.

Но, предположим, нет времени не только на обстоятельную статью, но даже на заметку. А на письмо? А просто на телефонный звонок? Всегда ли мы отзваниваем тому, кто подарил нам свою книгу и ждет отклика? Не понравилась? А может, не прочли? Ведь и так бывает. Ну, а если прочли и понравилась, тогда позвонили? Ах, хотели и замотались? Вот то-то и оно. Потому у нас и дожди все время, что ни радоваться, ни радовать не спешим.

1994

## **ОСТРОВК БЕЗОПАСНОСТИ**

В вагоне было полно народу. На Курской стало еще больше: вошли люди с тюками, чемоданами. Мне повезло: я сидела. А напротив меня сидели мать с дочерью. Они тихо беседовали. Не знаю почему, но мне все время хотелось наблюдать за ними, и я была рада, когда толпа поредела.

Мать казалась немолодой и усталой, а девочка-подросток как-то странно произносила слова и слегка дергала головой. Я не слышала, что она говорила, но видела, как неестественно двигались ее губы и плыл взгляд. Если бы не это, девочку можно было бы назвать хорошенькой. Но вовсе не особенности ее внешности привлекли мое внимание, а то, как мать и дочь общались. Им было хорошо вдвоем. Они держались за руки и разговаривали, наклонившись друг к другу. В какой-то момент женщина достала из сумки книгу и что-то показала девочке. Обе засмеялись. И казалось, что все это происходит не в душном переполненном вагоне в час пик, а в тихой комнате при уютном свете настольной лампы. Поваяло чем-то давно забытым, далеким послевоенным детством, когда долгими зимними вечерами мама читала мне вслух, бабушка штопала, а дедушка дремал, прикрыв лицо газетой.

Не странно ли, что в те, отнюдь не идиллические, времена могло быть хорошо и покойно? Но идиллических времен не бывает. Тем более в России. И наверное, что бы ни происходило вокруг, главное - микрокосмос. Никакого открытия тут нет, но до чего же это трудно - создать и сохранить островок безопасности, если не безопасности, то тепла и доверия, среди огромного, бурлящего, чреватого катаклизмами мира. Выходя из вагона, я в последний раз оглянулась на такой островок, образованный двумя не самыми счастливыми людьми. Унося с собой частицу их ауры, я шла и улыбалась, почти не замечая ни толчеи, ни шума.

1995

## О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ХВОСТА ПЕРЕД КОПЧИКОМ

“О если б без слова Сказаться душой было можно!” - с тоской восклицает поэт. Но такое общение существует. Стоит тебе утром приподнять с подушки голову, как твоя душа вступает в молчаливый диалог с душой собаки, которая, встав передними лапами на постель, усиленно виляет хвостом и смотрит в глаза: “С добрым утром!” Впрочем, надо ли переводить подобную сцену на человеческий язык, если вся ее прелесть в том, что она - немая. “Говорит” душа и говорит без слов. Даже если ты и произносишь какие-то слова, их смысл не важен. Звук и интонация - вот что различает твой четвероногий собеседник. Ты почесал его за ухом, задумался, рука повисла в воздухе, и он тут же принимается настойчиво подталкивать твою руку своим влажным холодным носом: “Почему перестал? Продолжай!” Опять перевожу с собачьего на человеческий. Порочная привычка все выражать с помощью слов. Слово - вот корень зла. Вот что растлевает душу, изоцряет ум, порождая двоемыслие, подтекст, уловки, кривотолки. Собака потому и простодушна, что бессловесна. Простодушна, но не примитивна. Ее чувства разнообразны, как и способы их выражения. Один только лай чего стоит. Лай залиvistый с повизгиванием сопровождает игру в палки; смешанный с рычанием означает угрозу; отрывистый и настойчивый - просьбу; похожий на скулеж - жалобу. Хочешь понимать собаку - смотри и слушай. Она прямодушна, выражается ясно. Куда яснее, чем ты, привыкший к обинякам и задним мыслям. Учись понимать ее так, как она тебя. Ты расстроен, и она беспокоится заглядывая тебе в глаза. Ты зол, и она забивается под диван от греха подальше. Ты весел, и она с игривым видом валится на спину, предлагая тебе почесать ей брюхо. Ты пакуешь чемодан, и она с тревогой следит за каждым твоим движением. Ты, взяв чемодан, направляешься к двери, и она принимается отчаянно выть. Этот вой еще долго будет стоять у тебя в ушах. И если уж переводить с собачьего на человеческий, то только стихами:

С любимыми не расставайтесь,  
С любимыми не расставайтесь,  
С любимыми не расставайтесь,  
Всей кровью прорастайте в них,

И каждый раз навек прощайтесь,  
И каждый раз навек прощайтесь,  
И каждый раз навек прощайтесь,  
Когда уходите на миг.

Ах, венец творенья! Далеко тебе до собачьей преданности. Будь ты ничтожнейшим из смертных, собака все равно будет любить тебя и никогда не предаст. Она живет для любви и любовью. Любовь для нее - условие существования. Желая обругать свою жизнь, ты называешь ее “собачьей”, невольно признавая тот факт, что плохо четвероногому в этом мире, что не можешь ты обеспечить ему, как впрочем и себе, сносного существования. Да что ты вообще можешь? Одно слово - венец творенья. Разве ты способен на собачью непосредственность в выражении чувств? Копчик - это все, что у тебя осталось от такой совершенной вещи, как хвост. Собачий хвост - это исповедь. Это - страстный и предельно откровенный рассказ о радостях, печалях, страхах и обидах. Даже огрызок хвоста способен поведать об очень многом. Было бы кому.

А собачья деликатность... Ты угостил собаку, а она сыта и в гробу видела твое угощение. Но разве она может тебя обидеть? Мучается, но ест. Да еще не забывает благодарно повилить. Хорошо, если дело происходит за городом. Там хоть можно, взяв злополучный кусочек в пасть и ускользнув с ним из дому, незаметно закопать его где-нибудь на участке, а потом с невинным видом вернуться и лечь у ног щедрого

хозяина. И если бы не перепачканный в земле нос, никто бы никогда не догадался, что угощение не съедено, а зарыто. Таких тайников за лето набирается немало. И, что удивительно, собака помнит их все и накануне возвращения в город “обходит дозором”. Что же касается возвращения в город и вообще любого переезда, то для отдельных собачьих особей это - сплошной надрыв и мука. Пока набивают машину вещами, вой “стоит над замлей русской”. Собачий вой. Люди сбегаются, чтоб узнать в чем дело. Да ни в чем. Обыкновенный переезд. Грузят вещи. Погрузят и поедут. С собакой на коленях. Никто никогда ее не бросал. Не знала она горькой сиротской доли. Так что же она воет? “Наверное, другие собаки сказывали”, - догадался кто-то. И в самую точку попал. Конечно же, это - прапамять, голос прошлого, которое и давит и гнетет. Не оттого ли собаки, возвращенные на нашей нездоровой и многострадальной почве, больше лают и чаще конфликтуют, чем на Западе? Как по ребенку можно в какой-то степени судить о родителях, так по собаке - об обществе в целом. Собака изначально - существо благородное и глубоко порядочное. Все дурное в ней - от лукавого. От лукавого и порочного человека.

Впрочем, не о нем сейчас речь, а о твари бессловесной. О ее бесхитростных хитростях и простодушных попытках самоутвердиться. Вот на тропу выскочила белка. Казалось бы, беги и лови, коли ты - охотник. Но какой охотник из городского домашнего пса? Не нужна ему белка. Ему нужно показать себя: вот, мол, я - ужасный и прекрасный, великий стратег и тактик; я стою, как вкопанный и кидаюсь на свою жертву лишь потому, что еще не время. Но вот прошла секунда, белка устремилась вверх по стволу, теперь - вперед, в погоню! Теперь самое время бегать вокруг дерева, царапать передними лапами ствол, приседать, яриться и, задрав морду, визгливо лаять. Не торопи его, хозяин, не зови. Он занят: он нюхает беличий след.

О эти запахи... Что ты в них понимаешь? Идешь по лесу и думаешь свою нудную думу. А собака тем временем, принюхиваясь и перебегая с места на место, переживает минуты наивысшего вдохновения. Кто здесь оставил влажный след? Кто промелькнул, “дыша духами и туманами”? Вот ветер принес какой-то новый манящий запах, и пес, на секунду замерев и пошевелив кончиком носа, срывается с места и мчится ему навстречу. И пусть цель не столь уж романтична - поджариваемый на костре шашлык или течная сучка - сила и свежесть чувств - вот что важно. Впрочем, существуют и бескорыстные радости: купанье зимой в свежеснежавшем снегу, а летом - в нагретом солнцем песке. Слабо тебе так жить: азартно, самозабвенно, здесь и сейчас. Да к тому же с неизменной любовью в сердце.

Недавно в газете появилась заметка о говорящей собаке, которая называет хозяйку “ма-ма”, а еду “ам-ам”. На одну бессловесную тварь меньше. Жаль. Да сохранится в этом мире, безнадежно отравленном ядовитыми выбросами (в том числе и словесными), заповедная область незамутненных чувств, где души общаются без слов - напрямую.

1996

## **VII. ЭНЕРГИЯ ОТЧАЯНИЯ**

### **ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ**

“Все попрощались со счастливым хозяином дома, и Кристофер Робин пошел обедать со своими друзьями Пухом и Пятачком”. Что может быть уютнее этой фразы, написанной 70 лет назад английским писателем А.А. Милном? Что может быть идилличнее той жизни, которую вели герои его знаменитой сказки? Наверное, это большая удача - быть сыном сказочника и главным действующим лицом его бессмертного сочинения!

“Кристофер Робин Милн, владелец книжного магазина, умер 20 апреля в возрасте 75 лет. Он родился 21 августа 1920

года”, - сообщили английские газеты весной 96-го. А еще они сообщили, что Кристофер Робин всю жизнь тяготился своим именем и пытался избавиться от досадного наследства. Едва заходила речь о книгах отца, он становился мрачным, как траченный молью ослик Иа-Иа. Нет, он не был счастливым - этот Кристофер Робин. Раннее детство он провел со своей няней на верхнем этаже дома, спускаясь в гостиную к родителям лишь три раза в день: после завтрака, после чая и перед отходом ко сну. Мать изредка играла с ним в разные игры, но особой близости между ними не было. Вечно погруженный в литературные занятия отец был с сыном приветлив, но сух. “Он всегда был наглухо застегнут”, - написал позднее в своих воспоминаниях Милн младший. “Отец забрался на мои детские плечи и украл мое доброе имя”, - такой беспощадный приговор вынес Кристофер Робин тому, кто его обессмертил. Со страниц английской газеты “The Times” на меня смотрят пять глаз: два принадлежат папе Милну, два - его семилетнему сыну и один - единственный стеклянный глазок (второй закрыт шерстью) - плюшевому медвежонку - славному и неувядающему Винни-Пуху. Сказочник и его герои - как не умилиться, глядя на это фото. Но - увы, увы - в жизни нет места идиллии и редки поводы для умиления. А, может, не сокрушаться надо, а лишь поражаться тому насколько жизнь сложнее, неоднозначнее и изощреннее всего, что мы можем вообразить.

Я не читала воспоминаний Милна младшего. Что же до цитат, приведенных в некрологе, то они пугающе безжалостны, полны застарелой обиды и беспредельного раздражения. Прочтя их, я сперва испытала удивление, а потом досаду, как будто узнала что-то неприятное о близком человеке. Ведь речь шла об авторе книги, поселившейся в нашем доме более тридцати лет назад и ставшей почти настольной. Кроме самого первого и самого потрепанного “Винни-Пуха”, пересказанного Заходером, в нашем книжном шкафу постепенно скопилось множество других “Винни-Пухов” - русских и английских, толстых и тонких, цветных и чернобелых. Нам казалось, что мы знаем героев этой книжки, включая самого Кристофера Робина, как облупленных. Ан нет. Открылось кое-что, чего мы не знали. А надо ли знать? “It depends”, - как говорят англичане, - “Это зависит”. Зависит от того, кто, как и зачем пишет.

В те дни, когда умер Кристофер Робин, я была в Англии. Прочтя в одной из газет столь неприятно поразившие меня подробности его биографии, я бросилась читать другие газеты. И чем больше читала, тем сильнее досадовала. Но теперь уже не столько на прискорбные факты его жизни. Сколько на то, с каким энтузиазмом они муссировались. В каждом некрологе сообщалось о несчастном детстве Кристофера, о его многочисленных претензиях к суховатому, сдержанному, с ледяным взглядом и тонкими губами отцу. Создавалось впечатление, что все пишущие начисто забыли, что умер не просто Кристофер Робин Милн, но сын того самого Милна, который сочинил “Очень Маленькое Существо” Пятачка, Очень Большого Поэта Пуха, Очень Мрачного Ослика Иа-Иа, Очень Мудрую Сову, Чересчур Умного Кролика - короче, всех тех, без кого наш мир был бы скучнее, преснее и темнее. Почему же не напомнить об этом хоть мимолетной строкой, хоть короткой репликой из бессмертной сказки? Зачем, выбрав лишь желчные цитаты из автобиографии Милна младшего, превращать некролог в обвинительное заключение Милну старшему? Неужели он не заслужил ничего иного? Впрочем, на то и журналистика, чтоб делать акценты на изъянах и скандалах. Но когда в подобном ключе пишут литераторы, поэты, критики, причем пишут о людях выдающихся, составивших целую эпоху в литературе и жизни, становится не по себе. Нет ничего проще, чем отыскать аномалию в характере или судьбе художника. (Употребляю это слово в широком смысле, чтоб избежать ненавистного словосочетания “творческая личность”). Ведь художник - это почти диагноз, а значит весьма удобный объект для острого пера, жаждущего кого-нибудь проткнуть или хотя

бы задеть. Эти позывы особенно сильны в переломную эпоху, когда всё перекраивается, перелопачивается, ставится с головы на ноги, с ног на голову или вообще на попа. “Хорошим тоном” считаются публикации и высказывания уничижительного, разоблачительного, обвинительного характера. Так Николай Александров в короткой радиореплике раз и навсегда “покончил” с Николаем Алексеевичем Некрасовым, уничтожив его с помощью множества суровых и едких слов, среди которых эпитет “нудный” звучал почти нежно. Автор, конечно, имеет право на свое особое мнение, но, вынося, говоря языком Пятачка, “лизорюцию” по поводу столь значительной величины, как Некрасов, хотелось бы меньшей лихости, большей доказательности и большего уважения к тем, кто думает и чувствует иначе. В 9-ом номере “Звезды” за 96-ой год опубликована работа А.Жолковского “Анна Ахматова - пятьдесят лет спустя”. И снова не могу не вспомнить милновскую глубокомысленную Сову, которая “говорила и говорила какие-то ужасно длинные слова, и слова эти становились все длиннее и длиннее...”. Может быть, и был в этом многостраничном, многословном и полном “ума холодных наблюдений” труде какой-то резон, но главного я там не обнаружила - поэта Анны Ахматовой. Ведь нельзя же всерьез считать ею ту, нарисованную Жолковским даму, главной заботой которой была слава, а основным занятием - умелые “манипуляции механизмами имидж - мейкинга”. Вряд ли подобная особа могла сочинить в своей жизни хоть что -нибудь путное. Когда я читала Жолковского, мне на память пришло вот что: “Кролик - он умный! - сказал Пух в раздумье... - У него настоящие мозги... Наверно, поэтому-то он никогда, ничего не понимает!” Какое-то время назад много шума наделала книга М. Кралина “Артур и Анна”, посвященная сложным и запутанным отношениям Анны Ахматовой и композитора Артура Лурье, - книга душная и тесная, напрочь лишенная вертикали, без которой жизнь художника вряд ли представима. Вот так и возникает кривое зеркало и ложный образ. Если бы герои этих произведений вдруг ожили и попытались узнать себя и друг друга в тех, кто назван их именами, то, наверно, состоялся бы разговор, описанный мудрецом Милном :

— Слушай , Кролик , а это не ты ?

— Нет , не я ! - сказал Кролик совершенно не своим голосом .

— А разве это не твой голос ?

— По-моему, нет, - сказал Кролик. - По-моему, он совсем, ну ни капельки, не похож!

Я ни в коем случае не призываю создавать и лелеять мифы, “делать” читателю “красиво” и придавать биографии великих “товарный вид”. Но мне бы хотелось, читая чей-то труд, видеть, что автор занят предметом разговора, а не какими-то побочными соображениями или желанием самоутвердиться любой ценой.

“Полюби Бога, и делай, что хочешь”, - сказал Блаженный Августин. Перефразируя его слова, можно сказать: “Люби своего героя, и пиши, что хочешь”. Дорожи плодами его труда, и свидетельства твои никогда не станут ни злопыхательством, ни сплетней. Знай ему цену, и все будет в порядке: и интонация окажется верной, и акценты точными.

Коробят ли нас подробности, которые сообщает в своих “Записках об Анне Ахматовой” Лидия Чуковская ? Она и не думает скрывать того, что Ахматова бывала высокомерна, гневлива, нетерпима, не всегда справедлива к людям. Чего стоили хотя бы бесконечные “срочные вызовы”, на которые Лидия Корнеевна, как правило, немедленно откликнулась. “Сегодня Анна Андреевна позвонила мне и попросила прийти к ней. По правде сказать, просьба довольно безжалостная, ибо мороз - 35 . Но я надела валенки и пошла.” “Она сказала: “Приходите сейчас ко мне. И мы вместе пойдем к вам.” Было уже поздно, но я, как всегда, послушалась.” “Вчера вечером Анна Андреевна позвонила и очень настойчиво просила прийти. Я отменила работу с Колей

Давиденковым и пошла к ней по проливному дождю”. “Не знаю, что бушевало, каменело, созидалось, изнемогало в великой душе Анны Ахматовой, - пишет Лидия Чуковская в другом месте “Записок”, - когда Анна Андреевна была со мной так несправедлива, так недружественна.” “В великой душе Анны Ахматовой” - это не пустая фраза, написанная лишь для того, чтобы смягчить все горькие слова, сказанные в ее адрес. Для Чуковской поэзия Ахматовой - ценность безусловная и неизменная. Поэтические строки присутствуют чуть ли не на каждой странице книги, в которой к тому же есть отдельный раздел: “Стихотворения Анны Ахматовой, без которых понимание моих записей затруднено”. Сегодня, когда читателя в знаменитом поэте зачастую интересуется все, кроме стихов, подобная книга кажется анахронизмом. “У меня такое впечатление, - сказала однажды Анна Ахматова Лидии Чуковской, - что вы знаете мои стихи наизусть за пять минут до того, как я их напишу. За десять, может быть, и нет, но за пять -безусловно.” “Писать надо только о том, что любишь”, - произнесла Ахматова в разговоре о предисловии к одной книге. Это весьма спорное утверждение абсолютно верно, когда речь идет о трудах, посвященных большому художнику. Подобная любовь не декларируется. Она просто присутствует как свет на полотнах Рембрандта, все преображая и высвечивая. Без нее нельзя понять ни единого мгновения жизни автора таких строк:

Он награжден каким-то вечным детством,  
Той щедростью и зоркостью светил,  
И вся земля была его наследством,  
А он ее со всеми разделил.

Эти ахматовские строки посвящены Пастернаку.

Помню, как двадцать лет назад, прочтя поразившую меня переписку Бориса Пастернака с Ольгой Фрейденберг, я стала обсуждать ее с моей приятельницей - математиком по специальности, человеком эмоциональным, но далеким от поэзии. Выяснилось, что у нее полным-полно претензий к поведению Пастернака в разные годы его жизни, о чем она и высказывалась напористо и категорично. Я пыталась возражать, но вдруг поняла всю бессмысленность своих попыток. Бесполезно говорить с человеком, чье сердце не дрогнет, если ему прочесть:

Душа моя - печальница  
О всех в кругу моем!  
Ты стала усыпальницей  
Замученных живьем...

Этим стихотворением кончался толстый тамиздатовский том переписки Пастернака и его двоюродной сестры Ольги, которая временами, по ее собственному выражению, “нудила” брата то за то, то за другое. У нее было немало причин и обижаться на него и огорчаться. Но она ни на секунду не забывала, кто он: “Ты - един, и весь твой путь лежит тут, вроде картины с перспективной далью дороги, которую видишь всю вглубь”, - пишет Ольга Фрейденберг о “Докторе Живаго”, - “Стихи, тобой приложенные, едины с прозой и с твоей всегдашней поэзией. И очень хороши.” Люби и делай, что хочешь. Пиши, не боясь правды. Любовь делает перо целомудренным. Без нее самые достоверные факты становятся ложью, и все превращается в сор, из которого не растут стихи.

Декабрь 1996

## УЮТНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА БЕЗДНУ

Свет далекой «Звезды» № 9 за 96-ой год долетел до меня с большим опозданием, потому и отклик мой - запоздалый. И касается он исключительно тех страниц, что посвящены творчеству Александра Кушнера, недавно отметившего свое шестидесятилетие. “Поэт нормы”, - так Фазиль Искандер назвал свои в целом интересные заметки, в которых он пишет: “Он - поэт уюта, поэт окультуренного человеком мира... Вопросы, на которые Кушнер не находит ответа, и не ставятся в его стихах. Он никогда не зависает над бездной, не вглядывается в нее подобно Тютчеву и Блоку. Но это общее свойство поэтов дома.” “Муза А.С.Кушнера - муза оседлой жизни, муза покоя и заведенного порядка”, - вторит Искандеру Евгений Голлербах. “Поэт слагает стихи лишь о том, что видит, о тихой, привычной и до боли родной среде обитания...”. Прочла я все это и несказанно удивилась. А, удивившись, сняла с полки сборники поэта и принялась их перечитывать. Едва я перелистнула несколько страниц, как на меня посыпались вопросы. Те самые, на которые поэт не находит ответа, но которые тем не менее настойчиво задает себе, читателю, вечности, пространству:

Кто, кто так держит мир в узде,  
Что может птенчик спать в гнезде?

\* \* \*

В деревьях ужас нежитья  
И ветра шорох с краю,  
Как чей-то крик: а как же я?  
И чей-то вздох: не знаю.

\* \* \*

Какое счастье - сон вдвоем,  
Кто нам позволил это?

\* \* \*

Не суй свой нос, не лезь к миропорядку  
С расспросами...

- одергивает себя поэт, но вопрошает и вопрошает:

На свете, где и так все держится едва,  
На ниточке висит, цепляется, вот рухнет,  
Кто сделал, чтобы ты жива и нежива  
Была, как тот огонь: то вспыхнет, то потухнет?

Заразившись вопросительной интонацией цитируемых мной стихов, не могу не задать вопрос: как сопоставить эти строки с утверждением, что поэт “никогда не зависает над

бездной”? Да, по-моему, он только и делает, что над ней зависает, цепляясь за всякую мелочь, всякую подробность бытия и быта, чтоб удержаться на краю:

И голый ужас, без одежд,  
Сдавив, лишил меня движений.  
Я падал в пропасть без надежд,  
Без звезд и тайных утешений.  
Ополоумев, облака  
Летели, серые от страха.  
Чесалась потная рука,  
Блестела мокрая рубаха.  
И в целом стоге под рукой,  
Хоть всей спиной к нему прижаться,  
Соломки не было такой,  
Чтоб, ухватившись, задержаться!

Такой соломинкой служат поэту стихи, которые

Не пишутся ? идут,  
Раскинув руки, над обрывом,  
И камешек то там, то тут  
Несется с шорохом счастливым  
Вниз...

Впрочем, кое с чем из сказанного о Кушнере - “поэт оседлой жизни, покоя, уюта, дома” (первым поэтом дома Фазиль Искандер считает Пушкина) - можно и согласиться. Кушнер действительно поэт дома, но дома, стоящего на краю пропасти, о которой он не забывает, даже занимаясь вполне обыденными делами: кипятя молоко или ставя на стол букет шиповника. Не знаю в чём больше мужества - в том, чтобы постоянно вглядываться в бездонную черноту, или в том, чтобы повернувшись к ней спиной, радоваться простым вещам.

За дачным столиком, за столиком дощатым,  
В саду за столиком, за вкопанным, сырым,  
За ветхим столиком я столько раз объятым  
Был светом солнечным, вечерним и дневным!

.....  
В саду за столиком... А дело в том, что слишком  
Душа привязчива... И ей в щелях стола  
Все иглы дороги, и льнет к еловым шишкам,  
И склонна все отдать за толику тепла.

И как не захотеть “все отдать за толику тепла”, если и дом твой и сад лепятся на краю пропасти, а значит, весь твой налаженный быт и оседлая жизнь, и заведенный порядок

- сплошная фикция. Особенно если живешь в России, где кроме метафизической бездны, существуют вполне реальные ямы и провалы, где даже безмятежный сон на чистой простыне в собственном доме, когда

Не трясут за теплое плечо,  
Не подступают с окриком и лаем

- великая роскошь.

Кушнер - поэт уюта? Может быть. Но, читая его "уютные" стихи, я постоянно вспоминаю знаменитую ахматовскую строку: "Ты уюта захотела? Знаешь где он - твой уют..." Наверное, такова интонация стихов (даже на первый взгляд безмятежных) Кушнера, что не вспомнить эту строчку, по-моему, невозможно. И сколь бы настойчиво поэт ни заклинал судьбу, обещая "привязчивой душе", что "не канет ничто, не пройдет", он отлично знает, что и пройдет и канет. И все же именно неотвратимость конца рождает особую зоркость и остроту чувств:

Но и в самом легком дне,  
Самом тихом, незаметном,  
Смерть, как зернышко на дне,  
Светит блеском разноцветным,

освещая пленительным и неверным светом самые заурядные вещи:

И даже номер на машине  
ЛИИ 12-50  
И те журналы, что в кабине  
Багровым веером лежат.

\* \* \*

Кому объяснить, для чего на примете  
Держу и вино, и сучок на паркете,  
    И зыбку невскую прыть.  
Какую тоску, шелестящую рядом,  
Я призрачным этим полночным парадом  
    Хочу заслонить?

"Кому объяснить?" Это не вопрос. Это крик отчаяния. Кто-то мудрый сказал: "Если надо объяснять, то не надо объяснять". Нарушив этот принцип, я бросилась объяснять. Правда, не столько своими словами, сколько с помощью строк самого поэта. Зачем я это делаю? Затем, наверное, что меня поразила сама возможность такого полного несоответствия между словом поэта и восприятием этого слова. Вот что писала об одной из его книг Лидия Гинзбург: "Дневные сны рассказывают о счастье жизни и о неутраченной за него тревоге. Это ключевая тема книги, и отсюда ее лирическая напряженность. В ней осуществляется связь жизнеутверждающего и трагического." ("Человек за письменным столом", с. 340). То же самое можно сказать и

о последней книге поэта “На сумрачной звезде”.

В отчаянье или в беде, беде,  
Кто б ни был ты, когда ты будешь в горе,  
Знай: до тебя уже на сумрачной звезде  
Я побывал, я стыл, я плакал в коридоре.

Чтоб не увидели, я отводил глаза.  
Я признаюсь тебе в своих слезах, несчастный  
Друг, кто бы ни был ты, чтоб знал ты: небеса  
Уже испытаны на хриплый крик безгласный.

Не отзываются. Но видишь давний след?  
Не первый ты прошел во мраке над обрывом.  
Тропа проложена. Что, легче стало, нет?  
Вожусь с тобой, самолюбивым.

Поэт открытым текстом признается в своих слезах и в том, что отводил глаза, чтоб скрыть эти слезы. Но стихи Александра Кушнера говорят о том, что ему это плохо удается. Отсюда драматизм и сила его поэзии.

1997

## **ЭНЕРГИЯ ОТЧАЯНИЯ (ГЕОРГИЙ ИВАНОВ И ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ)**

Это скучное слово УНЫНИЕ, состоящее из двух одинаковых согласных и четырех гласных, одна из которых напоминает тоскливый собачий вой, а прочие настолько узки и тесны, что не впускают ничего значительного. Уныние - это вялость, апатия, атрофия мышц и чувствительности. На мертвой почве уныния ничего не растет. Уныние - грех. То ли дело ОТЧАЯНИЕ. Оно и звучит иначе. В этих судорожно цепляющихся друг за друга Т Ч чудится энергия сопротивления. В разверстых АЯ - несмолкаемый крик. Если уныние - убитый нерв, то отчаяние - живая боль: тупая, острая, фантомная, какая угодно, но непременно живая. “Не теряй отчаяния”, - сказал Ахматовой Пунин, когда его, арестованного, уводили из дома. То есть, мучайся, страдай, заламывай руки, бейся головой об стену, кричи на крик или просто замри, уставившись в одну точку, но не теряй чувствительности. Только мертвым не больно.

Отчаяние - результат лобового столкновения с действительностью, неотвратимостью, упрямой судьбой. Столкновение такой силы, что искры сыпятся из глаз, что видишь звезды, как говорят англичане. Отчаяние - звездный час, который - случается и такое - может длиться долго. Так звездный час Георгия Иванова растянулся на несколько десятков эмигрантских лет.

С бесчеловечною судьбой  
Какой же спор? Какой же бой?  
Все это наважденье.  
...Но этот вечер голубой  
Еще мое владенье.

.....

Пожалуй, нужно даже то,  
Что я вдыхаю воздух.  
Что старое мое пальто  
Закатом слева залито,  
А справа тонет в звездах.

В “глухой европейской дыре” Георгия Иванова то и дело что-то вспыхивает, мерцает, сияет, светится: то первая звезда “в тускнеющий вечерний час”, то мучительные и сладкие воспоминания о “русском снеге, русской стуже”, то просто “рифма заблестит”. И сколько бы ни уверял поэт себя и читателя в своем “безразличье к жизни, к вечности, к судьбе”, он бесконечно от него далек, и мается его душа и захлебывается от горя и болит от воспоминаний, и плачет по ночам “от жалости и страха”.

Не надо. Нет, не плачь.  
О, если бы с размаха  
Мне голову палач!

\* \* \*

Если бы я мог забыться,  
Если бы, что так устало,  
Перестало сердце биться,  
Сердце биться перестало...

Освободиться, забыть себя, потерять чувствительность, избавиться от бесполезного и бессмысленного бытия - вот рефрен его поэзии.

Все на свете пропадает даром,  
Что же Ты робеешь? Не робей!  
Разможжи его одним ударом,  
На осколки звездные разбей!  
Отрави его горчичным газом  
Или бомбами испепели –  
Что угодно - только кончи разом  
С мукою и музыкой земли!

Сколько однако энергии, страсти, а значит, и жизни в этом молении о конце. Впрочем, это не столько моление, сколько приказ, усиленный тремя восклицательными знаками: не робей! Разбей! Кончи разом! Слава Всевышнему за то, что Он до сих пор не внял мольбе одного из своих не слишком уравновешенных чад и не покончил “с мукою и музыкой земли”, прекрасно сознавая, что и само чадо не вполне уверено, что хочет именно этого. Иначе не написало бы таких строк:

Был замысел странно-порочен  
И все-таки жизнь подняла  
В тумане - туманные очи  
И два лебединых крыла.

И все-таки тени качнулись  
Пока догорала свеча.  
И все-таки струны рванулись,  
Бессмысленным счастьем звуча...

\* \* \*

Бесполезное - бесполезно:  
Продолжается бытие.

Это слова другого эмигрантского поэта Владислава Ходасевича, который, как и Георгий Иванов, долгие годы писал под диктовку отчаяния.

О чем? Забыл. Непостижимо.  
Как можно жить в тоске такой!  
Он вскакивает. Мимо, мимо,  
Под ветер, на берег морской!

Колышется его просторный  
Пиджак - и, подавляя стон,  
Под европейской ночью черной  
Заламывает руки он.

И в этих стихах, как и в молении о конце Георгия Иванова - буря и натиск, стремительность и страсть. Как это ни парадоксально, но отчаяние стало для обоих поэтов мощным источником энергии. Их отчаяние наступательно, активно и любит императив:

Перешагни, перескочи,  
Перелети, пере - что хочешь –  
Но вырвись: камнем из пращи.  
Звездой, сорвавшейся в ночи...  
В. Ходасевич

Хорошо - что никого.  
Хорошо - что ничего,  
Так черно и так мертво,  
Что мертвее быть не может  
И чернее не бывать,  
Что никто нам не поможет  
И не надо помогать.  
Г. Иванов

И снова Ходасевич:

Жди, смотря в упор,  
Как брызжет свет, не застилая ночи.

Смотрю в упор, но, вопреки смыслу сказанного, вижу только свет - такой силой воздействия обладает слово "брызжет".

И тем не менее "европейская ночь" Ходасевича темнее ивановской. Если в ночи Ходасевича и вспыхивает свет, то локальный, имеющий вполне конкретный и весьма прозаический источник:

Тускнеет в лужах электричество,  
Нисходит предвечерний мрак...

\* \* \*

Сижу, освещаемый сверху,  
Я в комнате круглой моей  
Смотрю в штукатурное небо  
На солнце в шестнадцать свечей.

Случается, что, подпитывая свою тоску, Ходасевич намеренно изгоняет из своего пространства всякий свет, кроме искусственного:

Великая вокруг меня пустыня,  
И я - великий в той пустыне постник.  
Взойдет ли день - я шторы опускаю,  
Чтоб солнечные бесы на стенах  
Кинематограф свой не учиняли.  
Настанет ночь - поддельным слабым светом  
Я разгоняю мрак и в круге лампы  
Сгибаю спину и скриплю пером, -  
А звезды без меня своей дорогой  
Пускай идут.

Но коль скоро поэт скрипит пером, значит что-то ему все-таки светит. Ну хотя бы искра Божья, которая наполняет перо "трепещущим, колючим током", или вспыхнувшая рифма. А вспышка рифмы - это вспышка надежды: "Я чающий и говорящий" (Ходасевич). "Отчаяние - состояние крайней безнадежности, ощущение безысходности" - сказано в Толковом словаре. Но вот парадокс: основную часть этого слова составляет "чаяние", и две крохотных, его отрицающих буквы ОТ ничего не могут с ним поделаться. Тем более, что ЧАЯНИЕ - ударная, а значит, самая звучная часть слова. Слова и звуки способны творить чудеса, теряя изначальный смысл и приобретая новый.

В зиянии разверстых гласных  
Дышу легко и вольно я.  
Мне чудится в толпе согласных  
Льдин взгроможденных толчея.

И внутри отчаяния, внутри его разверстых гласных обоим поэтам удавалось дышать  
“легко и вольно”

Лети, кораблик мой, лети,  
Кренясь и не ища спасенья,  
Его и нет на том пути,  
Куда уносит вдохновенье.

Спасенья нет, но есть великий дар превращать энергию отчаяния в созидательную.

С бесчеловечною судьбой  
Какой же спор? Какой же бой?

- восклицает Иванов.

Как совладать с судьбою-дурой?  
Заладила свое - хоть плачь

- вторит ему Ходасевич.  
Но вот и выход:

Сосредоточенный и хмурый  
Орудует смычком скрипач.

Жесткие, совсем непоэтичные слова. Да и может ли скрипач, чья душа “мытарится то отвращеньем, то восторгом” ублажать чей-то слух? Вряд ли. Но зато он способен заставить внемлющего ему пережить то, что познал сам - “дрожь, побежавшую по коже Иль ужаса холодный пот”. Наверняка и Иванов и Ходасевич временами теряли отчаяние и впадали в уныние, не дающее плодов. И все же отчаяние, слава Богу, побеждало, диктуя странные безысходные, но и ослепительные строки:

Сияет соловьями ночь,  
И звезды, как снежинки, тают,  
И души - им нельзя помочь,  
Со стоном улетают прочь,  
Со стоном в вечность улетают.  
Г. Иванов

1997

## ГЛУБОКОМЫСЛЕННО О НЕСУЩЕСТВЕННОМ

Злые спутники сумеречной полосы –  
Неотвязные мысли - бродячие псы,  
Семенящие тупо за мной по пятам,  
Как отважу я вас, чем задобрю, что дам.  
Как потрафить смогу, коли этой зимой  
Ничего кроме вас у меня у самой?

Это стихотворение написано давным-давно, в шестидесятые годы, но мое отношение к сумеркам с той поры не изменилось. Сумерки - время богооставленности, сиротства. Где бы они меня ни настигли - на городской улице, в лесу, у воды - всюду и всегда я оказываюсь беззащитной перед ними. Ни серый пасмурный день, ни темная ночь не могут внушить мне той безысходной тоски, какую внушают сумерки. Сколько раз я произносила это слово и в стихах и просто в разговоре, но лишь совсем недавно открыла для себя его простую тайну: "СВЕТ УМЕР" - вот что такое "СУМЕРКИ". "Умер" - сердцевина слова, а начальная буква "с" - это все, что осталось от света. И хотя сумерки - это не смерть, а лишь умирание света, само слово фиксирует летальный исход. Свет угасает по-разному: когда тихо и смиренно, когда бурно и ярко. Но с его уходом всегда гаснут надежды, исчезают иллюзии, остается один мертвенный полог над головой, который обречен стать черным. Однако темнота надвигающаяся куда страшнее наступившей, непременно чреватой новыми вспышками звезд, фонарей, надежд, иллюзий. Нет для меня времени более безысходного, чем ноябрь и декабрь, когда день начинает умирать, не успев родиться.

Несколько лет назад в середине ноября я оказалась в Швеции, которая поразила меня обилием огней. Если в слабо освещенной сумеречной Москве мне всегда хотелось как можно скорей добраться до дому, чтоб зашторить окна и включить все лампы, то по вечернему Стокгольму тянуло бродить всю ночь. Свет шел отовсюду: от бесчисленных витрин, фонарей, рекламы, окон. Даже небо над головой казалось искусно подсвеченным. Никаких тебе сумерек, никакого сиротства. Что ж, может быть, эта метафизическая тоска - привилегия России, где в силу слабо развитой цивилизации человек более уязвим и зависим от стихии, времени года и даже естественного освещения? Я уже почти пришла к этому выводу, когда вдруг услышала от одного из местных жителей, что ноябрь с его коротким световым днем и длинными ночами - самое тяжкое для шведов время, время частых самоубийств, особенно среди молодежи. Я была в шоке: что казалось мне раем, кому-то казалось адом, что казалось мне светом, кому-то казалось тьмой. Невольно вспомнилась строка Бальмонта: "Я не знаю мудрости годной для других..."

Рай, ад, свет, мрак, тоска, веселье - все относительно. Абсолютно лишь то, чего нет, вымысел, фантазия, подобная сочиненной Федором Сологубом идеальной "земле Ойле", освещенной небывалой звездой Маир.

Звезда Маир сияет надо мною,  
Звезда Маир,  
И озарен прекрасною звездой  
Далекий мир.

Земля Ойле плывет в волнах эфира.  
Земля Ойле,  
И ясен свет мерцающий Маира  
На той земле.

1997

\* \* \*

Из года в год играем пьесу  
Без зрителей. А ну их к бесу.  
Играем для самих себя.  
Лишь искру Божию любя  
В себе. Любя в себе готовность  
Играть. Условность, не условность –  
В театре жеста и теней  
Играем до скончания дней  
Без репетиций и антракта,  
И если не хватает такта  
Игре, и вкуса, и ума,  
То не безумна ль жизнь сама  
И не безвкусна ли порою?  
И если называть игрою  
Всё то, что происходит в нас  
И с нами, то и смертный час  
Не есть конец гигантской пьесы,  
Безумцем сотканной из мессы  
И шлягера, и тишины,  
И мы навек оглушены  
Спектакля музыкой и пляской,  
Его канвой, его развязкой.

1991

## **VIII. ИЗ НОВЫХ СТИХОВ**

**1996**

\* \* \*

Что держит на плаву - Бог весть,  
Что держит на плаву - не знаю.  
Плыву, бесшумно уплываю  
Куда-то, будто где-то есть  
Пункт назначения, черта,  
К которой следует стремиться...  
Все мнится, Господи, все мнится:  
И там - мираж, и здесь - тщета.

\* \* \*

Так к чему же все свелось?  
Всё к тому же, да к тому же,  
Всё к дождю, что сеет лужи,  
Падая немного вкось.  
Лист летит наискосок,  
Сам Всевышний смотрит косо  
На любителей вопроса:  
“Так к чему же...?” Всё - в песок.

Всё - в песок: шаги, стихи,  
Где Господь помянут всуе,  
Дождевые эти струи,  
Что стекают со стрехи.

\* \* \*

Дождь идет да идет от зари до зари,  
Дождь идет, а по лужам снуют пузыри,  
И с небес и с ветвей, и с любого листа,  
Дождик капает, будто бы краска с холста.  
Что за живопись. Бог мой, и как не нова!  
Кто не видел, как мокнет под ливнем трава,  
Кто здесь не был, и не жил, не ведал страстей,  
И в руках не сжимал колонковых кистей.

\* \* \*

На том стою, на том,  
Что зыбится, струится,  
На чем едва стоит,ся,  
Где дышится с трудом.  
На том стою, скользя,  
Срываясь ежечасно,  
На чем стоять опасно,  
С чего сойти нельзя.

\* \* \*

Всё осока да герань,  
Подорожник да крапива  
Вдоль тропы, бегущей криво...  
Тихо, руку не порань  
Об осоку, об траву,  
Собирая для букета  
Цветовые сгустки лета.  
Я давно уже не рву  
Ни травинки, ни цветка,  
Не желая быть той силой,  
Что живое подкосила,  
Навсегда лишив глотка  
Влаги, воздуха. Ведь мы,  
Все мы - братья по несчастью  
И живем единой страстью  
Перед ликом общей тьмы.

\* \* \*

Стояло лето, и стояли  
Такие дни,  
В таких лучах они сияли,  
Что все они  
Казались долгим неделимым  
Единым днем,  
Единым днем неопалимым.  
Горел огнем  
Край небосвода в час заката,  
В закатный час,  
Но длился день, и знак фермата  
Над ним не гас.

\* \* \*

Батарейка кончилась у меня в часах.  
Я живу вне времени, как на небесах.  
Батарейка кончилась - циферблат исчез.  
Вы еще с хронометром, я осталась без.  
Не спеша из темени я плыву на свет.  
Нет у меня времени, ни минуты нет.

\* \* \*

Сплошная текучка, сплошная текучка.  
Все в мире плывет, точно по небу тучка,  
Все в мире плывет, точно облако в речке,  
И нету конца и предела утечке,  
И нету конца и предела исходу,  
И я, не найдя ни единого броду,  
Решила, что жизнь - это гиблое дело.  
...Как в воду глядела, как в воду глядела.

\* \* \*

Что кроме странствия, что кроме Скитания?  
В уютном доме Живем, во времени, в стране,  
Но годы мчатся и оне (Люблю архаику) уносят  
Тебя, меня, а там и бросят,  
Оставят неизвестно где  
В покое вечном, как в беде...  
Но может статься, может статься,  
Нам предстоит и ТАМ скитаться,  
И ТАМ покоя не дано, -  
Но лишь скитание одно.

\* \* \*

Цвет желтый - это цвет измены.  
Глаза рябит от пышной пены  
Листвы, которая желта...  
Сам Бог велит сойти со сцены  
Поскольку пьеса прожита...  
Еще четыре кратких вздоха –  
И переменится эпоха,  
В которую привыкли жить:  
Любить, тужить и ждать подвоха,  
Осенним вечером кружить, -  
Эпоха, с коей связан кровно...  
А впрочем, это всё условно –  
Тысячелетья и года. –  
Сплошной поток струится ровно,  
Не утекая никуда.

\* \* \*

Не плачь! Ведь это понарошку.  
Нам крутят старую киношку,  
И в этом глупеньком кино  
Живет какая-то Нино,  
Нам крутят старую киношку,  
И кто-то любит эту крошку.  
Решив убить себя всерьез,  
Герой, едва из-под колес,  
Вновь обретает голос сладкий...  
Но ты дрожишь, как в лихорадке,  
И задыхаешься от слез.

\* \* \*

Строчка, сверкнувшая в темной ночи...  
Хочешь - заспи ее, хочешь - строчи  
Стих, что родился от вспыхнувшей строчки  
И ни малейшей не терпит отсрочки.  
Все испиши, не оставив полей...  
Скоро за окнами станет светлей,  
И потускнеет, лишившись накала,  
Строчка, которая дивно сверкала.

\* \* \*

Музыка, музыка, музыка, мука –  
Древняя тайна рождения звука,  
Что существует, в пространстве кочуя,  
Мучая душу и душу врачуя.

Музыка, музыка, форте, пиано –  
Ты и бальзам и открытая рана,  
Промыслы Бога и происки черта...  
Музыка, музыка, пьяно и форте.

\* \* \*

Все эти времена лихие  
Все времена  
Как листья прошуршат сухие.  
На письма  
Похож узор на листьях клёна.  
Роняет клён  
И нынче как во время оно  
Поток письмён.  
Что время пишет - ветер носит  
Несёт, несёт,  
Не то в глухую пропасть сбросит,  
Не то спасёт.

\* \* \*

Все дело в том, что дела нет  
Ему до нас. И всякий след  
Готов исчезнуть через миг.  
Все дело в том, что Светлый Лик  
Всегда глядит поверх голов,  
Не видя слез, не слыша слов,  
Не опуская ясных глаз,  
Глядит туда, где нету нас.

\* \* \*

“Tombe la neige”\*, - хрипловато поёт баритон.  
“Tombe la neige”. Слава Богу, что это не стон,  
Не мольба, не надсада, а песня с грустинкой.  
На земле, что вращается старой пластинкой,  
Те же речи, и встречи, и песни все те ж.  
Тихо падает снег, и звучит “Tombe la neige,  
Tombe la neige, tombe la neige”. На заигранном диске  
Всё о том же, о том же - про счастье и близкий,  
Близкий счастья конец. Та, что так дорога,  
Не придет, а на землю ложатся снега.  
И снега и любовь превратятся в бывшее,  
Чтобы снова воскреснуть под чуткой иглою.

---

\* *Tombe la neige (фр.) - Падает снег*

1997

\* \* \*

Но уходя бесповоротно,  
Я прикрываю дверь неплотно,  
И свет, пробившийся ТУДА,  
Высвечивает мимолетно  
Полуистлевшие года  
И преданные забвенью  
Разнообразные мгновенья...  
Но миг живой, пронзивший мглу,  
И сам на завтра станет тенью  
И превратится в прах, золу.

\* \* \*

И лишь в последний день творенья  
Возникло в рифму говоренье,  
Когда Господь на дело рук  
Своих взглянул, и в нем запело  
Вдруг что-то, будто бы задело  
Струну в душе, запело вдруг,  
Затрепетало и зажглось,  
И все слова, что жили розно, -  
“О Господи”, - взмолились слезно, -  
“О сделай так, чтоб все сошлось,  
Слилось, сплелось.” И с той поры  
Трепещет рифма, точно пламя,  
Рожденное двумя словами  
В разгар Божественной игры.

\* \* \*

Ничего не выгорит, не случится чуда.  
Выкурят нас, выдворят, выгонят отсюда.  
Выкурят и вытурят, выдуют и смоют...  
К непогоде, видимо, кости сильно ноют.  
И кому в диковинку старец и калека?...  
На губах у новеньких не обсохло млеко.  
Чудо обновления есть закон витальный.  
Жизнь - одно мгновение, снимок моментальный.  
Проводы, свидание и туманный кто-то,  
Где-то в мироздании на случайном фото.

\* \* \*

А кстати... Впрочем, всё не кстати,  
Когда утрата на утрате,  
То всё не кстати и не впрок...  
Но только лихо за порог,  
Как вновь мечты о благодати.  
И, еле ноги волоча,

Иду, ослепнув от луча  
Весеннего, гляжу незряче,  
И слышу: ангел - не иначе –  
Коснулся моего плеча.

\* \* \*

Как Бог на душу положит...  
Ну а если он не может  
Ничего нам предложить,  
Налегке придётся жить.  
Но душе всё плоше, плоше,  
Тяжелей без Божьей ноши.

\* \* \*

I

Держусь за воздух, за весенний.  
За вешний воздух. Даже тени  
Светлы и что ни миг - светлей,  
И щедро льёт сплошной елей  
Весна, верней, потоки света,  
И даже мелкая монета  
Затёртая, чей жалок вес,  
Сияет, точно дар небес.

II

На чём всё держится? На честном,  
На честном слове, на небесном  
Луче небесном, ни на чём,  
На том, что можно звать лучом,  
Иль вздохом, или чувством меры,  
Иль странным свойством атмосферы  
Нас почему-то не лишать  
Возможности любить, дышать...

\* \* \*

Живи, куда поглощён самим явленьем.  
Среди подробностей взращён, живи мгновеньем.

Оно лишь только и дано. Всё остальное –  
Воображение одно, причём больное.

Живи мгновеньем, что летит и улетает.  
Спонтанных записей петит душа читает.

А что там дальше - благодать иль двери ада –  
Ей не дано предугадать да и не надо.